

Александр Куприн

Юнкера



Александр Куприн
Юнкера

«Public Domain»

1933

Куприн А. И.

Юнкера / А. И. Куприн — «Public Domain», 1933

Содержание

| | |
|-----------------------------------|----|
| Часть I | 5 |
| Глава I | 5 |
| Глава II | 11 |
| Глава III | 14 |
| Глава IV | 19 |
| Глава V | 22 |
| Глава VI | 25 |
| Глава VII | 31 |
| Глава VIII | 35 |
| Глава IX | 38 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 40 |

Александр Иванович Куприн

Юнкера

Часть I

Глава I

Отец Михаил

Самый конец августа; число, должно быть, тридцатое или тридцать первое. После трехмесячных летних каникул кадеты, окончившие полный курс, съезжаются в последний раз в корпус, где учились, проказили, порою сидели в карцере, ссорились и дружили целых семь лет подряд.

Срок и час явки в корпус – строго определенные. Да и как опоздать? «Мы уж теперь не какие-то там полуштатские кадеты, почти мальчишки, а юнкера славного Третьего Александровского училища, в котором суровая дисциплина и отчетливость в службе стоят на первом плане. Недаром через месяц мы будем присягать под знаменем!»

Александров остановил извозчика у Красных казарм, напротив здания четвертого кадетского корпуса. Какой-то тайный инстинкт велел ему идти в свой второй корпус не прямой дорогой, а кружным путем, по тем прежним дорогам, вдоль тех прежних мест, которые исхожены и избеганы много тысяч раз, которые останутся запечатленными в памяти на много десятков лет, вплоть до самой смерти, и которые теперь веяли на него неопишуемой сладкой, горьковатой и нежной грустью.

Вот налево от входа в железные ворота – каменное двухэтажное здание, грязно-желтое и облупленное, построенное пятьдесят лет назад в николаевском солдатском стиле.

Здесь жили в казенных квартирах корпусные воспитатели, а также отец Михаил Вознесенский, законоучитель и настоятель церкви второго корпуса.

Отец Михаил! Сердце Александрова вдруг сжалось от светлой печали, от неловкого стыда, от тихого раскаяния... Да. Вот как это было:

Строевая рота, как и всегда, ровно в три часа шла на обед в общую корпусную столовую, спускаясь вниз по широкой каменной вьющейся лестнице. Так и осталось пока неизвестным, кто вдруг громко свистнул в строю. Во всяком случае, на этот раз не он, не Александров. Но командир роты, капитан Яблукинский, сделал грубую ошибку. Ему бы следовало крикнуть: «Кто свистел?» – и тотчас же виновный отозвался бы: «Я, господин капитан!» Он же крикнул сверху злобно: «Опять Александров? Идите в карцер, и – без обеда». Александров остановился и прижался к перилам, чтобы не мешать движению роты. Когда же Яблукинский, спускавшийся вниз позади последнего ряда, поравнялся с ним, то Александров сказал тихо, но твердо:

– Господин капитан, это не я.

Яблукинский закричал:

– Молчать! Не возражать! Не разговаривать в строю. В карцер немедленно. А если не виноват, то был сто раз виноват и не попался. Вы позор роты (семиклассникам начальники говорили «вы») и всего корпуса!

Обиженный, злой, несчастный поплелся Александров в карцер. Во рту у него стало горько. Этот Яблукинский, по кадетскому прозвищу Шнапс, а чаще Пробка, всегда относился к нему с подчеркнутым недоверием. Бог знает почему? потому ли, что ему просто было антипатично лицо Александрова, с резко выраженными татарскими чертами, или потому, что маль-

чишка, обладая непоседливым характером и пылкой изобретательностью, всегда был во главе разных предприятий, нарушающих тишину и порядок? Словом, весь старший возраст знал, что Пробка к Александрову придирается...

Довольно спокойно пришел юноша в карцер и сам себя посадил в одну из трех камер, за железную решетку, на голую дубовую нару, а карцерный дядька Круглов, не говоря ни слова, запер его на ключ.

Издали донеслись до Александрова глухо и гармонично звуки предобеденной молитвы, которую пели все триста пятьдесят кадет:

«Очи всех на Тя, Господи, уповают, и Ты даеши им пищу во благовремение, отверзаючи щедрую руку Твою...» И Александров невольно повторял в мыслях давно знакомые слова. Есть перехотелось от волнения и от терпкого вкуса во рту.

После молитвы наступила полная тишина. Раздражение кадета не только не улеглось, но, наоборот, все возрастало. Он кружился в маленьком пространстве четырех квадратных шагов, и новые дикие и дерзкие мысли все более овладевали им.

«Ну да, может быть, сто, а может быть, и двести раз я бывал виноватым. Но когда спрашивали, я всегда признавался. Кто ударом кулака на пари разбил кафельную плиту в печке? Я. Кто накурил в уборной? Я. Кто выкрал в физическом кабинете кусок натрия и, бросив его в умывалку, наполнил весь этаж дымом и вонью? Я. Кто в постель дежурного офицера положил живую лягушку? Опять-таки я...

Несмотря на то что я быстро сознавался, меня ставили под лампу, сажали в карцер, ставили за обедом к барабанщику, оставляли без отпуска. Это, конечно, свинство. Но раз виноват – ничего не поделаешь, надо терпеть. И я покорно подчинялся глупому закону. Но вот сегодня я совсем ни на чуточку не виновен. Свистнул кто-то другой, а не я, а Яблукинский, «эта пробка», со злости накинулся на меня и осрамил перед всей ротой. Эта несправедливость невыносимо обидна. Не поверив мне, он как бы назвал меня лжецом. Он теперь во столько раз несправедлив, во сколько во все прежние разы бывал прав. И потому – конец. Не хочу сидеть в карцере. Не хочу и не буду. Вот не буду и не буду. Баста!»

Он ясно услышал послеобеденную молитву. Потом все роты с гулом и топотом стали расходиться по своим помещениям. Потом опять все затихло. Но семнадцатилетняя душа Александрова продолжала буйствовать с удвоенной силой.

«Почему я должен нести наказание, если я ни в чем не виноват? Что я Яблукинскому? Раб? Подданный? Крепостной? Слуга? Или его сопливый сын Валерка? Пусть мне скажут, что я кадет, то есть вроде солдата, и должен беспрекословно подчиняться приказаниям начальства без всякого рассуждения? Нет! я еще не солдат, я не принимал присяги. Выйдя из корпуса, многие кадеты по окончании курса держат экзамены в технические училища, в межевой институт, в лесную академию или в другое высшее училище, где не требуются латынь и греческий язык. Итак: я совсем ничем не связан с корпусом и могу его оставить в любую минуту».

Во рту у него пересохло и гортань горела.

– Круглов! – позвал он сторожа. – Отвори. Хочу в сортир.

Дядька отворил замок и выпустил кадета. Карцер был расположен в том же верхнем этаже, где и строевая рота. Уборная же была общая для карцера и для ротной спальни. Таково было временное устройство, пока карцер в подвальном этаже ремонтировался. Одна из обязанностей карцерного дядьки заключалась в том, чтобы, проводив арестованного в уборную, не отпуская его ни на шаг, зорко следить за тем, чтобы он никак не сообщался со свободными товарищами. Но едва только Александров приблизился к порогу спальни, как сразу помчался между серыми рядами кроватей.

– Куда, куда, куда? – беспомощно, совсем по-куриному закудахтал Круглов и побежал вслед. Но куда же ему было догнать?

Пробежав спальню и узкий шинельный коридорчик, Александров с разбега ворвался в дежурную комнату; она же была и учительской. Там сидели двое: дежурный поручик Михин, он же отделенный начальник Александрова, и пришедший на вечернюю репетицию для учеников, слабых по тригонометрии и по приложению алгебры, штатский учитель Отте, маленький, веселый человек, с корпусом Геркулеса и с жалкими ножками карлика.

– Что это такое? Что за безобразие? – закричал Михин. – Сейчас же вернитесь в карцер!

– Я не пойду, – сказал Александров неслышным ему самому голосом, и его нижняя губа затряслась. Он и сам в эту секунду не подозревал, что в его жилах закипает бешеная кровь татарских князей, неудержимых и неукротимых его предков с материнской стороны.

– В карцер! Немедленно в карцер! – взвизгнул Михин. – Ссию секунду!

– Не пойду и все тут.

– Какое же вы имеете право не повиноваться своему прямому начальнику?

Горячая волна хлынула Александрову в голову, и все в его глазах приятно порозовело. Он уперся твердым взором в круглые белые глаза Михина и сказал звонко:

– Такое право, что я больше не хочу учиться во втором московском корпусе, где со мною поступили так несправедливо. С этой минуты я больше не кадет, а свободный человек. Отпустите меня сейчас же домой, и я больше сюда не вернусь! ни за какие коврижки. У вас нет теперь никаких прав надо мною. И все тут!

В эту минуту Отте наклонил свою пышную волосатую с проседью голову к уху Михина и стал что-то шептать. Михин обернулся на дверь. Она была полукрота, и десятки стриженных голов, сияющих глаз и разинутых ртов занимали весь прозор сверху донизу.

Михин побежал к дверям, широко распахнул их и закричал:

– Вам что надо? Чего вы здесь столпились? Марш по классам, заниматься! – И, захлопнув двери, он крикнул на Александрова: – А вы сию же минуту марш в карцер!

– А я вам сказал, что не пойду, и не пойду, – ответил кадет, наклоня голову, как бычок.

– Не пойдете? Силой потащат! Я сейчас же прикажу дядькам...

– Попробуйте, – сказал Александров, раздувая ноздри.

Но тут Отте, вежливо положив руку на руку Михина, сказал вполголоса:

– Господин поручик, позвольте мне сказать два-три слова этому взволнованному юноше.

– Ах да, пожалуйста! хоть тридцать, хоть двести слов. Черт возьми, что за безобразие! И как раз на моем дежурстве!

Отте начал очень спокойно:

– Милый юноша, сколько вам лет?

– А вам не все ли равно? – дерзко огрызнулся Александров. – Ну, семнадцать...

– Конечно, мне все равно, – продолжал учитель. – Но я вам должен сказать, что в возрасте семнадцати лет молодой человек не имеет почти никаких личных и общественных прав. Он не может вступать в брак. Векселя, им подписанные, ни во что не считаются. И даже в солдаты он не годится: требуется восемнадцатилетний возраст. В вашем же положении вы находитесь на попечении родителей, родственников, или опекунов, или какого-нибудь общественного учреждения.

– Ну так что ж? – упрямо перебил его Александров.

– Да только и всего, – равнодушно ответил Отте. – Только и всего, что весь вопрос в том, кто определил вас в корпус.

– Моя мама. Но...

– И никакого «но», – возразил учитель. – Только с разрешения вашей матушки вы можете покинуть корпус, да еще в такое неурочное время. Откровенно, по-дружески, советую вам переждать эту ночь. Утро дает совет – как говорят мудрые французы.

– Ах, да что с ним церемониться? – нетерпеливо воскликнул Михин. – Дядька! Иди сюда!

Умные и участливые слова Отте уже привели было Александрова в мирное настроение, но грубый окрик Михина снова взорвал в нем пороховой погреб. Да и надо сказать, что в эту пору Александров был усердным читателем Дюма, Шиллера, Вальтер Скотта. Он ответил грубо и, невольно, театрально:

– Зовите хоть тысячу ваших дядек, я буду с ними драться до тех пор, пока я не выйду из вашего проклятого застенка. А начну я с того...

Но тут широкая ладонь Отте мягко зажала ему рот, и он едва успел встряхнуть головой.

– Тише, мальчишка! – крикнул ласково и повелительно Отте. – Помолчи немножко. Господин поручик, – обратился он к Михину, – это не он, а его дурацкий переломный возраст скандалит. Дайте мальчику успокоиться, и все пройдет. Ведь все мы переживали этот козлиный период.

– Покорно благодарю вас, Эмилий Францевич, – от души сказал Александров. – Но я все-таки сегодня уйду из корпуса. Муж моей старшей сестры – управляющий гостиницы Фальц-Фейна, что на Тверской улице, угол Газетного. На прошлой неделе он говорил со мною по телефону. Пускай бы он сейчас же поехал к моей маме и сказал бы ей, чтобы она как можно скорее приехала сюда и захватила бы с собою какое-нибудь штатское платье. А я добровольно пойду в карцер и буду ждать.

Он низко поклонился Отте и сказал:

– Еще раз покорно благодарю вас, Эмилий Францевич. Не можете ли вы попросить за меня, чтобы меня не запирали на ключ. Ей-богу, я не убегу.

– Ах, боже мой! – вскричал Михин, ударив себя по лбу. – У меня голова трещит от этих безобразий! Ну, пускай не запирают. Мне все равно.

Но Александрова в эту секунду дернул черт. Он указал пальцем на Михина и спросил у Отте:

– Вы можете поручиться в том, что меня не запрут?

– Да, могу, могу, – тебя не запрут. Иди с богом, – замахал на него руками Отте. – Иди скорее, бесстыдник. Ну и характер же!

Александрова сопровождал в карцер старый, еще с первого класса знакомый, дядька Четуха (настоящее его имя было Пиотух). Сдавши кадета Круглову, он сказал:

– Велено не запирать на ключ. – И, помолчав немного, прибавил: – Ну и чертенок же!

Александров принял это за комплимент.

Потянулись секунды, минуты и часы, бесконечные часы. Александрову принесли чай – сбитень и булку с маслом, но он отказался и отдал Круглову.

Гораздо позднее узнал мальчик причины внимания к нему начальства. Как только строевая рота вернулась с обеда и весть об аресте Александрова разнеслась в ней, то к капитану Яблукинскому быстро явился кадет Жданов и под честным словом сказал, что это он, а не Александров, свистнул в строю. А свистнул только потому, что лишь сегодня научился свистать при помощи двух пальцев, вложенных в рот, и по дороге в столовую не мог удержаться от маленькой репетиции.

А, кроме того, вся строевая рота была недовольна несправедливым наказанием Александрова и глухо волновалась. У начальства же был еще жив и свеж в памяти бунт соседнего четвертого корпуса. Начался он из-за пустяков, по поводу жуликоватого эконома и плохой пищи. Явление обыкновенное. Во втором корпусе боролись с ним очень просто, домашними средствами. Так, например, зачастил однажды эконом каждый день на завтрак кулебяки с рисом. Это кушанье всем надоело, жаловались, бросали кулебяки на пол. Эконом не уступал. Наконец – строевая рота на приветствие директора: «Здравствуйте, кадеты», начала упорно отвечать вместо «здравия желаем, ваше превосходительство» – «здравия желаем, кулебяки с рисом». Это подействовало. Кулебяка с рисом прекратилась, и ссора окончилась мирно.

В четвертом же корпусе благодаря неумелому нажиму начальства это мальчишеское недовольство обратилось в злое массовое восстание. Были разбиты рамы, растерзали на куски библиотечные книги. Пришлось вызвать солдат. Бунт был прекращен. Один из зачинщиков, Салтанов, был отдан в солдаты. Многие мальчишки были выгнаны из корпуса на волю божию. И правда: с народом и с мальчишками перекручивать нельзя...

Уже смеркалось, когда пришел тот же Четуха.

– Барчук, – сказал он (действительно, он так и сказал – барчук), – ваша маменька к вам приехали. Ждут около церкви, на паперти.

На церковной паперти было темно. Шел свет снизу из парадной прихожей; за матовым стеклом церкви чуть брезжил красный огонек лампадки. На скамейке у окна сидело трое человек. В полутьме Александров не узнал сразу, кто сидит. Навстречу ему поднялся и вышел его зять, Иван Александрович Мажанов, муж его старшей сестры, Сони. Александров прилгнул, назвав его управляющим гостиницы Фальц-Фейна. Он был всего только конторщиком. Ленивый, сонный, всегда с разинутым ртом, бледный, с желтыми катышками на ресницах. Его единственное чтение была – шестая книга дворянских родов, где значилась и его фамилия. Мать Александрова, и сам Александров, и младшая сестра Зина, и ее муж, добродушный лесничий Нат, терпеть не могли этого человека. Кажется, и Соня его ненавидела, но из гордости молчала. Он как-то пришелся не к дому. Вся семья, по какому-то инстинкту брезгливости, сторонилась от него, хотя мама всегда одергивала Алешу, когда он начинал в глаза Мажанову имитировать его любимые, привычные словечки: «так сказать», «дело в том, что», «принципиально» и еще «с точки зрения».

Подойдя к Александрову, он так и начал:

– Дело в том, что...

Александров едва пожал его холодную и мокрую руку и сказал:

– Благодарю вас, Иван Александрович.

– Дело в том, что... – повторил Мажанов. – С принципиальной точки зрения...

Но тут встала со скамейки и быстро приблизилась другая тень. С трепетом и ужасом узнал в ней Александров свою мать, свою обожаемую маму. Узнал по ее легкому, сухому кашлю, по мелкому стуку башмаков-недомеров.

– Иван Александрович, – сказала она, – вы спуститесь-ка вниз и подождите меня в прихожей.

– Дело в том, что... – сказал Мажанов и, слава богу, ушел.

– Алеша, мой Алешенька, – говорила мать, – когда же придет конец твоим глупым выходкам? Ну, убежал ты из Разумовского училища, осрамил меня на всю Москву, в газетах даже пропечатали. С тех пор как тебе стало четыре года, я покоя от тебя не знаю. В Зоологический сад лазил без билетов, через пруд. Мокрого и грязного тебя ко мне привели за уши. Архиерею не хотел руку поцеловать, сказал, что воняет. А как еще ты князя Кудашева обидел. Смотрел, смотрел на него и брякнул: «Ты князь?» – «Я князь». – «Ты, должно быть, из Наровчата?» – «Да, откуда ты, свиненок, узнал?» – «Да просто: у тебя руки грязные». Легко ли мне было это перетерпеть. А кто извозчику под колеса попал? А кто...

Отношения между Александровым и его матерью были совсем необыкновенными. Они обожали друг друга (Алеша был последышем). Но одинаково, по-азиатски, были жестоки, упрямы и нетерпеливы в ссоре. Однако понимали друг друга на расстоянии.

– Ты все знаешь, мама?

– Все.

– Ну а как же этот дурак?..

– Алеша!

– Как этот болван осмелился заподозрить меня во лжи или трусости?

– Алеша, мы не одни... Ведь капитан Яблукинский твой начальник!

– Да. А не ты ли мне говорила, что когда к нам приезжало начальство – исправник, – то его сначала драли на конюшне, а потом поили водкой и совали ему сторублевку?

– Алеша, Алеша!

– Да, я Алеша... – И тут Александров вдруг умолк. Третья тень поднялась со скамейки и приблизилась к нему. Это был отец Михаил, учитель закона божьего и священник корпусной церкви, маленький, седенький, трогательно похожий на святого Николая-угодника.

Александров вздрогнул.

– Дети мои, – сказал мягко отец Михаил, – вы, я вижу, друг с другом никогда не договоритесь. Ты помолчи, ерш ершович, а вы, Любовь Алексеевна, будьте добры, пройдите в столовую. Я вас задержу всего на пять минут, а потом вы выкушаете у меня чая. И я вас провожу...

Тяжеловато было Александрову оставаться с батюшкой Михаилом. Священник обнял мальчика, и долгое время они ходили туда и назад по паперти. Отец Михаил говорил простые, но емкие слова.

– Твоя мамаша – прекрасная мамаша. У меня тоже была мать, и я так же огорчал нередко, как и ты огорчил сейчас свою мамочку. Ну, что же? Ты был прав, а он не прав. Но твоя совесть безукоризненна, а он вспомнит однажды ночью случай с тобой и покраснеет от стыда. И потом, смотри – как огорчена мамаша! Что тебе стоит окончить корпус? По крайней мере диплом. А ей сладко. Сынок вышел в люди. А ты потом иди туда, куда тебе понравится. Жизнь, милый Алеша, очень многообразна, и еще много неприятностей ты причинишь материнскому сердцу. А знай, что первое слово, которое выговаривает человеческий язык, это – слово «мама». И когда солдат, раненный насмерть, умирает, то последнее его слово – «мама». Ты все понял, что я тебе сказал?

– Да, батюшка, я все понял, – сказал с охотной покорностью Александров. – Только я у него извинения не буду просить.

Священник мягко рассмеялся.

– Да и не надо, дурачок. Совсем не надо.

И не так увещания отца Михаила тронули ожесточенное сердце Александрова, как его личные точные воспоминания, пришедшие вдруг толпой. Вспомнил он, как исповедовался в своих невинных грехах отцу Михаилу, и тот вздыхал вместе с ним и покрывал его епитрахилью, от которой так уютно пахло воском и теплым ладаном, и его разрешительные слова: «Аз иерей недостойный, разрешаю...» и так далее. Вспомнил еще (как бывший певчий) первую неделю Андреева стояния. В домашнем подрясничке, в полутьме церкви говорил отец Михаил трогательные слова из канона преподобного Андрея Критского:

«Откуда начну плакати жития моих окаянных деяний? Кое положу начало, Спасе, нынешнему рыданию».

И хор и вместе с ним Александров, второй тенор, отвечали:

«Помилуй мя, Боже, помилуй мя».

– А теперь, – сказал священник, – стань-ка на колени и помолись. Так тебе легче будет. И мой совет – иди в карцер. Там тебя ждут котлеты. Прощай, ерш ершович. А я поведу твою маму чай пить.

И неслыханная в корпусной истории вещь: Александров нагнулся и поцеловал руку отца Михаила.

Глава II Прощание

Проходя желтыми воротами, Александров подумал: «А не зайти ли к батюшке Михаилу за благословением. Новая жизнь начинается, взрослая, серьезная и суровая. Кто же поддержал ласковой рукой бестолкового кадета, когда он, обезумев, катился в пропасть, как не этот маленький, похожий на Николая-угодника священник, такой трогательно-усталый на великопостных повечериях, такой терпеливый, когда ему предлагали на уроках ядовитые вопросы: „Батюшка, как же это? Ведь Бог всеведущ и всемогущ. Он за тысячу, за миллион лет знал, что Адам и Ева согрешат, и, стало быть, они не могли не согрешить. Отчего же Он не мог уберечь их от этого поступка, если Он всесилен? И тогда какой же смысл в их изгнании и в несчастьях всего человечества?“

На это отец Михаил четко, сухо и пространно принимается говорить о свободной воле и, наконец, видя, что схоластика плохо доходит до молодых умов, сделал кроткое заключение:

– А вы поусерднее молитесь Богу и не мудрствуйте лукаво.

На сердце Александрова сделалось тепло и мягко, как когда-то под бабушкиной заячьей шубкой.

Стоя перед казармой, он несколько минут колебался: идти? не идти? Но какая-то дикая застенчивость, боязнь показаться навязчивым – преодолели, и Александров пошел дальше. Эти чувства нежной благодарности и уютной доброты, связанные с личностью отца Михаила, никогда не забудутся сердцем Александрова. Через четырнадцать лет, уже оставив военную службу, уже женившись, уже приобретая большую известность как художник-портретист, он во дни тяжелой душевной тревоги приедет, сам не зная зачем, из Петербурга в Москву, и там неведомый, темный, но мощный инстинкт властно потянет его в Лефортово, в облупленную желтую николаевскую казарму, к отцу Михаилу. Его введут в крошечный кабинет, еле освещенный керосиновой лампой под синим абажуром. Навстречу ему подыметесь отец Михаил в коричневой ряске, совсем крошечный и сгорбленный, подобно Серафиму Саровскому, уже не седой, а зеленоватый, видимо немного обеспокоенный появлением у него штатского, то есть человека из совсем другого, давно забытого, непривычного, невоенного мира.

– Чем могу служить? – спросит он вежливо и суховато, шуря, по старой, милой, давно знакомой Александрову привычке, подслеповатые глаза.

Александров назовет свое имя и год выпуска, но священник только покачает головою с жалостным видом.

– Не помню. Простите, никак не могу вспомнить. Ведь сколько лет, сколько, сколько сотен имен... Трудно все помнить...

Тогда Александров, волнуясь и торопясь, и чувствуя, с невольной досадой, что его слова гораздо грубее и невыразительнее его душевных ощущений, рассказал о своем бунте, об увещании на темной паперти, об огорчении матери и о том, как была смягчена, стерта злобная воля мальчугана. Отец Михаил тихо слушал, слегка кивая, точно в такт рассказу, и почти неслышно приговаривал:

– Так, так, так. Так, так.

Когда же Александров окончил, батюшка спросил:

– А чем же вы теперь, господин, изволите заниматься?

– Я художник, живописец. Главным образом пишу портреты маслом. Может быть, слышали когда-нибудь: художник Александров?

– Признаться, не довелось слышать, не довелось. Мы ведь в корпусе, как в монастыре. Ну, что же? Живопись – дело благое, если Бог сподобил талантом. Вон святой апостол Лука. Чудесно писал иконы Божией Матери. Прекрасное дело.

Потом, точно снова встревожась, он спросил:

– А что же вам, господин, от меня требуется?

– Да ничего, батюшка, – ответил, слегка опечалась, Александров. – Ничего особенного. Потянуло меня, батюшка, к вам, по памяти прежних лет. Очень тоскую я теперь. Прошу, благословите меня, старого ученика вашего. Восемь лет у вас исповедовался.

Священник ласково улыбнулся, съезжил лицо, ставшее необыкновенно милым.

– Значит, в каком-то классе зазимовали?

– В шестом. И пять лет пел на клиросе. Благословите, отец Михаил.

– Бог благословит. Во имя Отца и Сына и Святого Духа...

Александров поцеловал сухонькую маленькую косточку, и душа его умякла.

– До свидания, батюшка. Простите, что побеспокоил.

– Ничего, дорогой мой, ничего... И меня простите, что не узнаю вас. Дело мое старое. Шестьдесят пятый год идет... Много времени утекло...

Идет юный Александров по знакомым, старинным местам мимо первого корпуса, над большим красным зданием которого висит огромный навес. Тронная зала, построенная Лефортом в честь Петра, в которой по ночам бродили призраки; мимо старинных потешных укреплений с высокими валами и глубокими рвами. Там крутой спуск к пруду: зимой из него делали славную ледяную гору. Вот первый плац – он огорожен от дороги густой изгородью желтой акации, цветы которой очень вкусно было есть весной, и ели их целыми шапками. Впрочем, охотно ели всякую растительную гадость, инстинктивно заменяя ею недостаток овощной пищи. Ели молочай, благородный щавель, и какие-то просвирки, дудки дикого тмина, и, в особенности, похожие на редьку корни свербиги, или свергибуса, или, вернее, сурепицы. Чтобы есть эти горьковатые корни с лучшим аппетитом, приносили с собою от завтрака ломоть хлеба и щепотку соли, завернутой в бумажку.

Вот второй плац, отделенный рядом старых, высоченных, бальзамических тополей. Как удивительно благоухали в пору экзаменов их липкие блестящие листья и клейкие темные почки! На втором плацу играли в лапту, в городки, в зук, в чехарду и особенно в запрещенную игру – в «кучки», – которая очень часто кончалась переломами и вывихами рук и ног. На этой же площадке пели весенними вечерами свои собственные песни, передававшиеся из поколения в поколение и часто не совсем цензурные. Отсюда же переругивались, состязаясь в мастерстве брани, с соседями, через забор, учениками фельдшерской школы, которых звали клистирными трубками и рвотным порошком.

За калиткой – третий плац, строевой, необыкновенной величины. Он тянется от корпуса до Анненгофской рощи, где вдали красное здание острога и городская свалка. За Анненгофскую рощу удирали отчаянные храбрецы ранней весной, чтобы выкупаться в студеной воде узенькой речушки Синички и выскочить из нее, посинев от холода, лязгая зубами и трясясь всеми суставами. У калитки, весной, всегда останавливается разносчик Егорка с тирольскими пирожками (пять копеек пара), похожими видом на куски черного хлеба, очень тяжелыми и сытными. Здесь же, у калитки, на утренней прогулке, семиклассники дожидались проезда ежедневного дилижанса, в котором, вдоль, слева и справа, сидели премиленькие девочки разных возрастов и в разных костюмах. Это – местные лефортовские ученицы ездили в город, в гимназию госпожи Перепелкиной, отчего и их самих коротко и ласково называли «перепелками». Немножко кокетничать с ними – это была неотъемлемая и строго охраняемая привилегия седьмого класса. Когда дилижанс равнялся с калиткой, то в него летели скромные дары: крошечные букетики лютиков, вероники, иван-да-марьи, желтых одуванчиков, желтой акации, а иногда даже фиалок, набранных в соседнем ботаническом саду с опасностью быть пойманным и оставленным без третьего блюда. Бросались иногда и стишки в бумажке, сложенной петушком:

Лишь только Феб осветит елки,

Как уж проснулись перепелки,
Спешат, прекрасные, спешат.
На нас красотки не глядят.
А мы, отвергнутые, млеем,
Дрожим и даже пламенеем...

Быстрым зорким взором обегает Александров все места и предметы, так близко прилепившиеся к нему за восемь лет. Все, что он видит, кажется ему почему-то в очень уменьшенном и очень четком виде, как будто бы он смотрит через обратную сторону бинокля. Задумчивая и сладковатая грусть в его сердце. Вот было все это. Было долго-долго, а теперь отошло навсегда, отпало. Отпало, но не отболело, не отмерло. Значительная часть души остается здесь, так же как она остается навсегда в памяти.

Как много прошло времени в этих стенах и на этих зеленых площадках: раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Как долго считать, а ведь это – годы. Что же жизнь? Очень ли она длинна, или очень коротка?

Все вечный вопрос. Настанет минута, когда бессонною ночью Александров начнет считать до пятидесяти четырех и, не досчитав, лениво остановится на сорока. «Зачем думать о пустяках?»

Глава III

Юлия

По «черному» крыльцу входит Александров в полутемную прихожую, где всегда раздевались приезжавшие учителя. Встречает его древний, седой в прозелень, весь какой-то обомшелый будничным швейцар по кличке Сова.

– Здравия желаю, господин юнкер, – сипит он астматическим махорочным голосом.

Александров еще в кадетской форме; ему еще довольно далеко до настоящего юнкера, но так лестно звучит это гордое звание, что рука невольно тянется в карман за последним, единственным гривенником.

– Пожалуйте в лазаретную приемную, – говорит Сова. – Там приказано собраться всем отпускным.

Александров идет в лазарет по длинным, столь давно знакомым рекреационным залам; их полы только что натерты и знакомо пахнут мастикой, желтым воском и крепким, терпким, но все-таки приятным потом полотеров. Никакие внешние впечатления не действуют на Александра с такой силой и так тесно не соединяются в его памяти с местами и событиями, как запахи. С нынешнего дня и до конца жизни память о корпусе и запах мастики останутся для него неразрывными.

Уже восьмой раз в своей жизни испытывает Александров заранее то волнение, которое всегда овладевало им при новой встрече с близкими одноклассниками после полутора месяцев летнего отпуска. Как сладко рассказывать и как интересно слушать о бесконечно разнообразных летних впечатлениях! Тут все ново и увлекательно. Один целое лето ловил щук на жерлицу, на блесну и на огонь, острогою. Другому подарили лошадь, и он верхом травил зайцев с борзыми. У третьего в имени его родителей археологи разрыли древний могильник и нашли там много костей, древней утвари, орудия и золотых украшений, которые от времени и пребывания в земле покрылись зеленою ярью. Четвертый был свидетелем большого лесного пожара и того, как убивали бешеную собаку. Следующий говорил гордо о том, как ему шурин Стася, Великий Охотник, подарил настоящую двустволку; правда – шомпольную, но знаменитого завода «Гастин-Ренетт». Таких редких ружей осталось во всем мире всего только, может быть, пять или шесть. Счастливый обладатель этого сокровища не расставался с ним ни на минуту и даже, ложась спать, укладывал его с собою в постель. А какие были купанья! Особенно на утренней заре, когда розовая вода так холодна и так до дрожи сильно и радостно пахнет. Какие злые, щипучие были черные в зелень раки! А березовая роща с грибами, черникой, брусникой и гонобобом! А сосновый лес, где рыжики, и ароматная дикая малина, и белки, и ежевика, и сами ежи, колючие недотроги! А кроткие домашние животные и зверюшки!

Эти разговоры велись обыкновенно вечером, в полутемной спальней, на чьей-нибудь койке. Они на много-много дней скрашивали монотонное однообразие жизни в казенном закрытом училище, и была в них чудесная и чистая прелесть, вновь переживать летние впечатления, которые *тогда* протекали совсем не замечаемые, совсем не ценимые, а теперь как будто по волшебству встают в памяти в таком радостном, блаженном сиянии, что сердце нежно сжимается от тихого томления и впервые крадется смутно в голову печальная мысль: «Неужели все в жизни проходит и никогда не возвращается?»

Есть и у Александрова множество летних воспоминаний, ярких, пестрых и благоуханных; вернее – их набрался целый чемодан, до того туго, туго набитый, что он вот-вот готов лопнуть, если Александров не поделится со старыми товарищами слишком грузным багажом... Милая потребность юношеских душ!

И на прекрасном фоне золотого солнца, голубых небес, зеленых рощ и садов – всегда на первом плане, всегда на главном месте *она*; непостижимая, недостижимая, несравненная, единственная, восхитительная, головокружительная – Юлия.

Но Юлия, это – только человеческое имя. Мало ли Юлий на свете. Вот даже есть в обиходе такой легонький стишок:

Хожу ли я, брожу ли я,
Все Юлия да Юлия.

Правда, Александров, немножко балующий стишками, пробовал иногда расцветить, углубить это двухстрочие:

В июне и в июле я
Влюблен в тебя, о Юлия!

На зов твой не бегу ли я
Быстрее пули, Юлия?

И описать смогу ли я
Красы твои, о Юлия!

И так далее, и так далее...

Но чего стоят вялые и беспомощные стишки? И настоящее имя ее совсем не Юлия, а скорее Геба, Гера, Юнона, Церера или другое величественное имя из древней мифологии.

Она высока ростом: на полголовы выше Александрова. Она полна, движения ее неторопливы и горды. Лицо ее кажется Александрову античным. Влажные большие темные глаза и темнота нижних век заставляют Александрова применять к ней мысленно гомеровский эпитет: «волоокая».

На дачном танцевальном кругу, в Химках, под Москвою, он был ее постоянным кавалером в вальсе, польке, мазурке и кадрили, уделяя, впрочем, немного благосклонного внимания и ее младшим сестрам, Ольге и Любе. Александров отлично знал о своей некрасивости и никогда в этом смысле не позволял себе ни заблуждений, ни мечтаний; но еще с большей уверенностью он не только знал, но и чувствовал, что танцует он хорошо: ловко, красиво и весело.

Ах! Однажды его великая летняя любовь в Химках была омрачена и пронзена зловещим подозрением: с горем и со стыдом он вдруг подумал, что Юленька смотрит на него только как на мальчика, как на желторотого кадетика, еще даже не юнкера, что кокетничает она с ним только от дачного «нечего делать» и что если она в нем что-нибудь и ценит, то только свое удобство танцевать с постоянным партнером, неутомимым, ловким и находчивым; с чем-то вроде механического манекена.

Со жгучей злобой, не потерявшей свежести даже и теперь, вспоминает Александров этот тяжелый момент.

В семье трех сестер Синельниковых, на даче, собиралось ежедневно множество безусой молодежи, лет так от семнадцати и до двадцати: кадеты, гимназисты, реалисты, первокурсники-студенты, ученики консерватории и школы живописи и ваяния и другие. Пели, танцевали под пианино, в *retits jeux*¹ и в каком-то круговоротном беспорядке влюблялись то в Юленьку, то в Оленьку, то в Любочку. И всегда там хохотали.

¹ Салонные игры (*фр.*).

Приходил постоянно на эти невинные забавы некто господин Покорни. Сверстникам Александра он казался стариком, хотя вряд ли ему было больше тридцати пяти лет: таков уж условный масштаб юности. Надо сказать, что в этой молодой и веселой компании господин Покорни был не только не нужен, но, пожалуй, даже и тяжел. Он был длинен, как жираф; гораздо выше Юленьки, и когда танцевал, то беспрестанно бил свою даму острыми коленками. Он не умел смеяться и часто грыз в молчании ногти. Если в «почте» его спрашивали: «А ваша корреспонденция?» – он отвечал: «Да я не знаю, что написать». Вообще он наводил уныние. Про него знали только то, что у него в Москве большой магазин фотографических принадлежностей. И был он вместе с бесцветным лицом, с фигурой и костюмом весь в продольных и вертикальных морщинах.

В Троицын день на Химкинском кругу был назначен пышный бал – gala. Военный оркестр из Москвы и удвоенное количество лампионов. После третьей кадрили заиграли ригурнель к вальсу. Александров разыскал Юленьку. Она сидела на скамейке одна и перебирала складки своего веера. Александров подбежал и низко поклонился, приглашая ее на танец. Она уже привстала, но откуда-то вдруг просунулся долговязый Покорни, изогнувшись над Александровым, протянул руку Юленьке. И она – о, ужас! – отвернулась от юноши и положила руку на плечо жирафа.

– Позвольте, – сдержанно, но гневно воскликнул Александров. – Послушайте!

Но Юленька и Покорни уже вертелись – благодаря косолапому кавалеру не в такт.

У Александра так горько стало во рту от злобы, точно он проглотил без воды целую ложку хинина.

Чтобы не быть узнанным, он сошел с танцевального круга и пробрался вдоль низенького забора, за которым стояли бесплатные созерцатели роскошного бала, стараясь стать против того места, где раньше сидела Юленька. Вскоре вальс окончился. Они прошли на прежнее место. Юленька села. Покорни стоял, согнувшись над нею, как длинный крючок. Он что-то бубнил однообразным и недовольным голосом, как будто бы он шел не из горла, а из живота.

«Точно чрево вещатель, – подумал Александров. – Должно быть, у всех подлецов такие противные голоса».

Юленька молчала, нервно распуская и сжимая свой веер. Потом она очень громко сказала:

– Сто раз я вам говорила – нет. И значит – нет. Проводите меня к татам. Нужно всегда думать о том, что делаешь.

Александров густо покраснел в темноте.

– Боже мой, неужели я подслушиваю!

Еще долго не выходил он из своей засады. Остаток бала тянулся, казалось, бесконечно. Ночь холодела и сырела. Духовая музыка надоела; турецкий барабан стучал по голове с раздражающей ритмичностью. Круглые стеклянные фонари светили тусклее. Висячие гирлянды из дубовых и липовых веток опустили беспомощно свои листья, и от них шел нежный, горьковатый аромат увядания. Александрову очень хотелось пить, и у него пересохло в горле.

Наконец-то Синельниковы собрались уходить. Их провожали: Покорни и маленький Панков, юный ученик консерватории, милый, белокурый, веселый мальчуган, который сочинял презабавную музыку к стихам Козьмы Пруткова и к другим юмористическим вещицам. Александров пошел осторожно за ними, стараясь держаться на таком расстоянии, чтобы не слышать их голосов.

Он слышал, как все они вошли в знакомую, канареечного цвета дачу, которая как-то особенно, по-домашнему, приютилась между двух тополей. Ночь была темная, беззвездная и росистая. Туман увлажнял лицо.

Вскоре мужчины вышли и у крыльца разошлись в разные стороны. Погас огонек лампы в дачном окне: ночь стала еще чернее.

Александров ничего не видел, но он слышал редкие шаги Покорни и шел за ними. Сердце у него билось-билось, но не от страха, а от опасения, что у него выйдет неудачно, может быть даже смешно.

Не доходя до лаун-теннисной площадки, он мгновенно решил. Слегка откашлялся и крикнул:

– Господин Покорни!

Голос у него из-за тумана прозвучал глухо и плоско. Он крикнул громче:

– Господин Покорни!

Шаги Покорни стихли. Послышался из темноты точно придушенный голос:

– Кто такой? Что нужно?

Александров сделал несколько шагов к нему и крикнул:

– Подождите меня. Мне нужно сказать вам несколько слов.

– Какие такие слова? Да еще ночью?

Александров и сам не знал, какие слова он скажет, но шел вперед. В это время ущербленный и точно заспанный месяц продрался и выкатился сквозь тяжелые громоздкие облака, осветив их сугробы грязно-белым и густо-фиолетовым светом. В десяти шагах перед собою Александров смутно увидел в тумане неестественно длинную и худую фигуру Покорни, который, вместо того чтобы дожидаться, пятился назад и говорил преувеличенно громко и торопливо:

– Кто вы такой? Что вам от меня надо, черт возьми?

Голос у него вздрагивал, и это сразу ободрило юношу. Давид снова сделал два шага к Голиафу.

– Я – Александров. Алексей Николаевич Александров. Вы меня знаете.

Тот ответил с принужденной грубостью:

– Никого я не знаю и знать не хочу всякую дрянь.

Но Александров продолжал наступать на пятившегося врага.

– Не знаете, так сейчас узнаете. Сегодня на кругу вы позволили себе нанести мне тяжелое оскорбление... в присутствии дамы. Я требую, чтобы вы немедленно принесли мне извинение, или...

– Что или? – как-то по-заячьи жалобно закричал Покорни.

– Или вы дадите мне завтра же удовлетворение с оружием в руках!

Вызов вышел эффектно. Какого рода оружие имел в виду кадет – а через неделю юнкер Александров, – так и осталось его тайной, но боевая фраза произвела поразительное действие.

– Мальчишка! щенок! – завизжал Покорни. – Молоко на губах не обсохло! За уши тебя драть, сопляка! Розгой тебя!

Всю эту ругань он выпалил с необычайной быстротой, не более чем в две секунды. Александров вдруг почувствовал, что по спине у него забегали холодные щекотливые мурашки и как-то весело потеплело темя его головы от опьяняющего предчувствия драки.

– Казенная шкура! – гавкнул Покорни напоследок.

Но тут произошло нечто совершенно неожиданное: сжав кулаки до боли, видя красные круги перед глазами, напрягая все мускулы крепкого, почти восемнадцатилетнего тела, Александров уже ринулся с криком: «Подлец», на своего врага, но вдруг остановился, как от мгновенного удара.

Покорни, удивительно быстро повернувшись, кинулся изо всех сил в бегство. Некто, там наверху заведующий небесными световыми эффектами, пустил вдруг всю лунный прожектор, и глазам Александрова внезапно предстало изумительнейшее зрелище. Давным-давно, еще будучи мальчиком, он видал в иллюстрациях к Жюль Верну страуса, мчащегося в легкой упряжке, и жирафа, который обгоняет курьерский поезд. Вот именно таким размашистым аллюром удирал с поля чести ничтожный Покорни. Александров кинулся было его догонять,

но вскоре убедился в том, что это не в силах человеческих. «Не швырнуть ли камнем в его спину? – Нет. Это будет низко». Так и бежал он потихоньку за Покорни, пока тот не остановился у своей дачи и не открыл входную дверь.

– Трус, хам и трижды подлец! – крикнул ему вслед Александров.

– А ты сволочь! – ответил Покорни, и дверь громко хлопнула.

Четыре дня не появлялся Александров у Синельниковых, а ведь раньше бывал у них по два, по три раза в день, забегая домой только на минуточку, пообедать и поужинать. Сладкие терзания томили его душу: горячая любовь, конечно, такая, какую не испытывал еще ни один человек с сотворения мира; зеленая ревность, тоска в разлуке с обожаемой, давняя обида на предпочтение... По ночам же он простаивал часами под двумя тополями, глядя в окно возлюбленной.

На пятый день добрый друг, музыкант Панков, влюбленный – все это знали – в младшую из Синельниковых, в лукавоглазую Любу, пришел к нему и в качестве строго доверенного лица принес запечатанную записочку от Юлии.

«Милый Алеша (это впервые, что она назвала его уменьшительным именем). Зачем вы, ненавидя своего врага, делаете несчастными ваших искренних друзей. Приходите к нам по-прежнему. *Его теперь нет* и, надеюсь, больше никогда не будет. А мне без вас так ску-у-чно.

Ваша Ю.

Ц.»

Минут десять размышлял Александров о том, что могла бы означать эта буква Ц., поставленная в самом конце письма так отдельно и таинственно. Наконец он решился обратиться за помощью в разгадке к верному белокурому Панкову, явившемуся сегодня вестником такой великой радости.

Панков поглядел на букву, потом прямо в глаза Александрову и сказал спокойно:

– Ц. – это значит – целую, вот и все.

В тот же день влюбленный молодой человек открыл, что таинственная буква Ц. познается не только зрением и слухом, но и осязанием. Достоверность этого открытия он проверил впоследствии раз сто, а может быть, и больше, но об этом он не расскажет даже самому лучшему, самому вернейшему другу.

Глава IV Бесконечный день

В лазаретной приемной уже собрались выпускные кадеты. Александров пришел последним. Его невольно и как-то печально поразило: какая малая кучка сверстников собралась в голубой просторной комнате, – пятнадцать-двадцать человек, не больше, а на последних экзаменах их было тридцать шесть. Только спустя несколько минут он сообразил, что иные, не выдержавши выпускных испытаний, остались в старшем классе на второй год; другие были забракованы, признанные по состоянию здоровья негодными к несению военной службы; следующие пошли: кто побогаче – в Николаевское кавалерийское училище; кто имел родню в Петербурге – в пехотные петербургские училища; первые ученики, сильные по математике, избрали привилегированные карьеры инженеров или артиллеристов; здесь необходимы были и протекция и строгий дополнительный экзамен.

Почему-то жалко стало Александрову, что вот расстроилось, расклеилось, расшаталось крепкое дружеское гнездо. Смутно начинал он понимать, что лишь до семнадцати, восемнадцати лет мила, светла и бескорытна юношеская дружба, а там охладает тепло общего тесного гнезда, и каждый брат уже идет в свою сторону, покорный собственным влечениям и велению судьбы.

Пришел доктор Криштафович и с ним корпусный фельдшер Семен Изотыч Макаров. Фельдшера кадеты прозвали «Семен Затыч», или иначе «клистирная трубка». Его не любили за его непреклонность. Нередко случалось, что кадет, которому до истомы надоела ежедневная зубрежка, разрешал сам себе день отдыха в лазарете. Для этого на утреннем медицинском обходе он заявлял, что его почему-то бросает то в жар, то в холод, а голова у него и болит и кружится, и он сам не знает, почему это с ним делается. Его отсылали вниз, в лазарет. Всем были известны способы, как довести температуру тела до желанных предельных 37,6 градусов. Но злодейский фельдшер Макаров, ставивший градусник, знал все кадетские фокусы и уловки, и никакое фальшивое обращение с градусником не укрывалось от его зорких глаз. Но дальше бывало еще хуже. Все, признанные больными, все равно, какая бы болезнь у них ни оказалась, – неизбежно перед ванной должны были принять по стаканчику касторового масла. Этим делом заведовал сам Макаров, и ни просьбы, ни посулы, ни лесть, ни упреки, ни даже бунт не могли повлиять на его твердокаменное сердце. Зеленого стекла толстостенный стакан, на дне чуть-чуть воды, а выше, до краев, желтоватое густое ужасное масло. Кусок черного хлеба густо посыпан крупной солью. Это – роковая закуска. Последний вздох, страшное усилие над собою. Нос зажат, глаза зажмурены.

– Э, нет. До конца, до конца! – кричит проклятый Макаров... Гнусное воспоминание...

Но бывали редкие случаи, когда Изотычу прощалось его холодное коварство. Это бывало тогда, когда удавалось его затащить в гимнастический зал.

Он делал на турнике, на трапедии и на параллельных брусьях такие упражнения, которых никогда не могли сделать самые лучшие корпусные гимнасты. Он и сам-то похож был на циркача очень малым ростом, чересчур широкими плечами и короткими кривыми ногами.

Сейчас же вслед за доктором пришел дежурный воспитатель, никем не любимый и не уважаемый Михин.

– Здравствуйте, господа, – поздоровался он с кадетами.

И все они, даже не сговорившись заранее, вместо того чтобы крикнуть обычное: «Здравия желаем, господин поручик», ответили равнодушно: «Здравствуйте».

Михин густо покраснел.

– Раздевайтесь на физический осмотр, – приказал он дрожащим от смущения и обиды голосом и стал кусать губы.

Кадеты быстро разделись донага и босиком подходили по очереди к доктору. То, что было в этом телесном осмотре особенно интимного, исполнял фельдшер. Доктор Криштафович только наблюдал и делал отметки на списке против фамилий. Такой подробный осмотр производился обыкновенно в корпусе по четыре раза в год, и всегда он бывал для Александра чем-то вроде беспечной и невинной забавы, тем более что при нем всегда бывало испытание силы на разных силомерах – нечто вроде соперничества или состязания. Но почему теперь такими грубыми и такими отвратительными казались ему прикосновения фельдшера к тайнам его тела?

И еще другое: один за другим проходили мимо него нагишом давным-давно знакомые и привычные товарищи. С ними вместе сто раз мылся он в корпусной бане и купался в Москвереке во время летних Коломенских лагерей. Боролись, плавали наперегонки, хвастались друг перед другом величиной и упругостью мускулов, но самое тело было только незаметной оболочкой, одинаковой у всех и ничуть не интересною.

И вот теперь Александров с недоумением заметил, чего он раньше не видел или на что почему-то не обращал внимания. Странными показались ему тела товарищей без одежды. Почти у всех из-под мышек росли и торчали наружу пучки черных и рыжих волос. У иных груди и ноги были покрыты мягкой шерстью. Это было внезапно и диковинно. И тут только заметил он, что прежние золотистые усики на верхней губе Бутынского обратились в рыжие, большие, толстые фельдфебельские усы, закрученные вверх. «Что с нами со всеми случилось?» – думал Александров и не понимал.

Но особенно смущали его от природы необычайно тонкое обоняние запахи этих сильных, полумужских обнаженных тел. Они пахнули по-разному: то сургучом, то мышатиной, то пороховой гарью, то увядающим нарциссом...

– Удивительно, неужели мы все разные, – сказал себе Александров, – и разные у нас характеры, и в разные стороны потекут наши уже чужие жизни, и разная ждет нас судьба? Да и правда: уж не взрослые ли мы стали?

Осмотр кончился. Кадеты оделись и поехали в училище на Знаменку. Но каким способом и каким путем они ехали – это навсегда выпало из памяти Александра. В бесконечную длину растянулся для него сложный, пестрый, чрезмерно богатый лицами, событиями и впечатлениями день вступления в училище.

Утром в Химках прощание с сестрой Зиной, у которой он гостил в летние каникулы. Здесь же, по соседству, визит семье Синельниковых. С большим трудом удалось ему улучшить минуту, чтобы остаться наедине с богоподобной Юленькой, но когда он потянулся к ней за знакомым, сладостным, кружащим голову поцелуем, она мягко отстранила его загорелой рукой и сказала:

– Забудем летние глупости, милый Алеша. Прошел сезон, мы теперь стали большие. В Москве приходите к нам потанцевать. А теперь прощайте. Желаю вам счастья и успехов.

И он ушел, молча, обиженный, несчастный, едва сдерживая горькие слезы...

Потом путь по железной дороге до Николаевского вокзала; оттуда на конке в Кудрино, к маме; затем вместе с матерью к Иверской Божьей Матери; после чуть ли не на край города в Лефортово, в кадетский корпус. Прощание, переодевание и, наконец, опять огромный путь на Арбат, на Знаменку, в белое здание Александровского училища.

В теле усталость, в голове путаница. В целые годы растянулся этот тягучий день, и все нет ему конца.

Никогда потом в своей жизни не мог припомнить Александров момента вступления в училище. Все впечатления этого дня походили у него в памяти на впечатления человека, проснувшегося после сильнейшего опьянения: какие-то смутные картины, пустячные мелочи и между ними черные провалы. Так и не мог он восстановить в памяти, где выпускных кадет

переодевали в юнкерское белье, одежду и обувь, где их ставили под ранжир и распределяли по ротам.

Ярче всего сохранилась у него такая минута: он стоит в длинном широком белом коридоре; на нем легкая свободная куртка, застегнутая сбоку на крючки, а на плечах белые погоны с красным вензелем А. П., Александр Второй. По коридору взад и вперед снуют молодые люди. Здесь и старые юнкера-второкурсники, которых сразу видно по выправке, и только прибывшие выпускные кадеты других корпусов, как московских, так и провинциальных, в разноцветных погонах. Тут впервые понимает Александров, как тяжело одиночество в чужой незнакомой толпе.

Он стоит у широкого окна, равнодушно прислушиваясь к гулу этого большого улья, рассеянно, без интереса, со скукою глядя на пестрое суетливое движение. К нему подходит невысокий офицер с капитанскими погонами – он худошав и смугло румян, черные волосы разделены тщательным пробором. Чуть-чуть заикаясь, спрашивает он Александрова:

– Какого э... корпуса?

– Второго московского, господин капитан.

– Э... На что же вы себе такие волосья отпустили? Думаете, красиво?

И он кричит громко:

– Андриевич!

– Я! – раздается отклик с другого конца коридора, и к офицеру быстро подбегает и ловко вытягивается перед ним тот самый Андриевич, который шел вместе с Александровым до шестого класса, очень дружил с ним и даже издавал с ним вместе кадетскую газету.

Офицер спрашивает:

– Вашего корпуса?

– Так точно, господин капитан.

– Э... Так возьмите этого отца протодиакона и тащите его к цирюльнику стричься, ишь какую гривицу отрастил.

– Слушаю, господин капитан.

Весело, лукаво улыбаясь, он непринужденно берет Александрова за рукав и говорит:

– Идем, идем, фараон.

Потом он сам наблюдает, как в умывалке цирюльник стрижет наголо бывшего дружка-приятеля, и слегка добродушно подтрунивает.

– Почему же я фараон? – спрашивает Александров.

Тот отвечает:

– Потому же, почему я обер-офицер. Разница между первым и вторым курсом.

– А кто же этот капитан?

– Это командир нашей четвертой роты, капитан Фофанов, а по-нашему Дрозд. Строгая птица, но жить с ней все-таки можно. Я тебя давно знаю. Ты у него досыта насидишься в карцере.

По окончании стрижки он доставляет его ротному командиру. Тот смотрит на новичка сверху вниз, склоняя голову то на левый, то на правый бок.

– Э... Ничего. Так хоть немножко на юнкера похож. Вы его подтягивайте, Андриевич.

Глава V Фараон

С трудом, очень медленно и невесело осваивается Александров с укладом новой училищной жизни, и это чувство стеснительной неловкости долгое время разделяют с ним все первокурсники, именуемые на юнкерском языке «фараонами», в отличие от юнкеров старшего курса, которые, хотя и преждевременно, но гордо зовут себя «господами обер-офицерами».

В кличке «фараон», правда, звучит нечто пренебрежительное, но она не обижает уже благодаря одной своей нелепости. В Александровском училище нет даже и следов того, что в других военных школах, особенно в привилегированных, называется «цуканьем» и состоит в грубом, деспотическом и часто даже унижительном обращении старшего курса с младшим: дурацкий обычай, собезьяненный когда-то, давным-давно, у немецких и дерптских студентов, с их буршами и фуксами, и обратившийся на русской черноземной почве в тупое, злобное, бесцельное издевательство.

За несколько лет до Александрова «цукание» собиралось было прочно привиться и в Москве, в белом доме на Знаменке, когда туда по какой-то темной причине был переведен из Николаевского кавалерийского училища светлейший князь Дагестанский, привезший с собою из Петербурга, вместе с распушенной развинченностью, а также с модным томным грассированием, и глупую моду «цукать» младших товарищей. Может быть, его громкий титул, может быть, его богатство и личное обаяние, а вероятнее всего, стадная подражательность, так свойственная юношеству, были причинами того, что обычаем «цукания» заразилась сначала первая рота – рота его величества, – в которую попал князь, а потом постепенно эту дурную игру переняли и другие три роты.

Однако это вредное самоуправство оказалось недолговечным. Преобладающим большинством в училище были коренные москвичи, вышедшие из четырех кадетских корпусов. Москва же в те далекие времена оставалась воистину «порфиносною вдовою», которая не только не склонялась перед новой петербургской столицей, но величественно презирала ее с высоты своих сорока сороков, своего несметного богатства и своей славной древней истории. Была она горда, знатна, самолюбива, широка, независима и всегда оппозиционна. Порою казалось, что она считает себя совсем отдельным великим княжеством, с князем-хозяином Владимиром Долгоруким во главе. Бюрократический Петербург, с его сухостью, узостью и европейской мелочностью, не существовал для нее. И петербургской аристократии она не признавала. «В Питере – все выскочки. Самым старым родам не более трехсот лет, а ордена и высокие титулы там даются за низкопоклонство и угодливость». А Москва? «Что за тузы в Москве живут и умирают! Какие славные вековые боярские столбовые роды обитают в ней на Пречистенке, на Поварской, на Новинском бульваре и на Никитских...» И самый воздух в первопрестольной был совсем иной, чем петербургский: куда крепче, ядренее, легче, хмельнее и свободнее. Петербургские штучки, словца и шуточки вяло прививались в Москве и скоро отмирали. Таким же путем прекратилось в Александровском училище и пресловутое немецкое «цуканье». Не место ему было в свобододобивой Москве. Угнетенные навязанной мелкой тиранией господ обер-офицеров, юнкера, однако, не жаловались ни высшему начальству, ни своим родителям: и то и другое было бы изменой внутреннему духу и укладу училища. Переворот произошел как-то случайно, сам собою, в один из тех июльских горячих дней, когда подходила к самому концу тяжелая, изнурительная лагерная служба.

Юнкера старшего класса уже успели разобрать, по присланному из Петербурга списку, двести офицерских вакансий в двухстах различных полках. По субботам они ходили в город к военным портным примерить в последний раз мундир, сюртук или пальто и ежедневно, с часа

на час, лихорадочно ждали заветной телеграммы, в которой сам государь император поздравит их с производством в офицеры.

В этот день после нудного батальонного учения юнкера отдыхали и мылись перед обедом. По какой-то странной блажи второкурсник третьей роты Павленко подошел к фараону этой же роты Голубеву и сделал вид, что собирается щелкнуть его по носу. Голубев поднял руку, чтобы предотвратить щелчок. Но Павленко закричал: «Это что такое, фараон? Смирно! Руки по швам!» Он еще раз приблизил сложенные два пальца к лицу Голубева. Но тут произошло нечто вовсе неожиданное. Скромный, всегда тихий и вежливый Голубев воскликнул:

– Довольно вы надо мною издевались! – и с этим криком, быстро открыв складной ножик, вонзил его в наружную сторону протянутой кисти. Павленко опешил. Рана оказалась пушечная, но кровь потекла обильно. Кстати, Голубев первый сделал Павленку перевязку из своего чистого полотенца.

Эта неприятная история быстро разнеслась по всему лагерю. Ни старшие, ни младшие юнкера не знали, как отнестись к кровавому событию. Некоторые из выпускных, очень немногие, и самые ярые «цукатели» предлагали довести до сведения начальства о дерзком поступке Голубева: пусть его подвергнут усиленному аресту или отправят нижним чином в полк. Но половина господ обер-офицеров и все фараоны стояли за него. Мигом по всем четырем баракам второкурсников помчались летучие гонцы: «После обеда всему второму курсу собраться в столовую!»

Собралось человек до шестидесяти. Уклонились лентяи, равнодушные, эгоисты, боязливые, туповатые, мнительные, неисправимые сони, выгадывавшие каждую лишнюю минутку, чтобы поваляться в постели, а также будущие карьеристы и педанты, знавшие из устава внутренней службы о том, что всякие собрания и сборища строго воспрещаются.

Говорили все сразу, но договорились очень скоро.

«Нам колбасники, немецкие студенты, не пример и гвардейская кавалерия не указ. Пусть кавалерийские юнкера и гвардейские „корнеты“ ездят верхом на своих зверях и будят их среди ночи дурацкими вопросами. Мы имеем высокую честь служить в славном Александровском училище, первом военном училище в мире, и мы не хотим марать его прекрасную репутацию ни шутовским балаганом, ни идиотской травлей младших товарищей. Поэтому решим твердо и дадим друг другу торжественное слово, что с самого начала учебного года мы не только окончательно прекращаем это свинское цуканье, достойное развлечений в тюрьме и на каторге, но всячески его запрещаем и не допустим его никогда. Да его уже и нет, оно прошло, и мы забыли о нем. Не правда ли, друзья? и все. И точка.

Пусть, в память старины, фараоны так и остаются фараонами. Не нами это прозвание придумано, а нашими прославленными предками, из которых многие легли на поле брани за веру, царя и отечество. Пусть же свободный от цукания фараон все-таки помнит о том, какая лежит огромная дистанция между ним и господином обер-офицером. Пусть всегда знает и помнит свое место, пусть не лезет к старшим с фамильярностью, ни с амикошонством, ни с дружбой, ни даже с простым праздным разговором. Спросит его о чем-нибудь обер-офицер – он должен ответить громко, внятно, бодро и при этом всегда правду. И конец. И дальше – никакой болтовни, никакой шуточки, никакого лишнего вопроса. Иначе фараон зазнается и распустится. А его, для его же пользы, надо держать в строгом, сухом и почтительном отдалении.

Да и зачем ему соваться в высшее, обер-офицерское общество? В роте пятьдесят таких фараонов, как и он, пусть они все дружатся и развлекаются. Мирятся и ссорятся, танцуют и поют промеж себя; пусть хоть представления дадут и на головах ходят, только не мешали бы вечерним занятиям.

Но две вещи фараонам безусловно запрещены: во-первых, травить курсовых офицеров, ротного командира и командира батальона; а во-вторых, петь юнкерскую традиционную «растанную песню»: «Наливай, брат, наливай». И то и другое – привилегии господ обер-офицеров;

фараонам же заниматься этим – и рано и не имеет смысла. Пусть потерпят годик, пока сами не станут обер-офицерами... Кто же это в самом деле прощается с хозяевами, едва переступив порог, и кто хулит хозяйские пироги, еще их не отведав?»

Так, или почти так, выразили свое умное решение нынешние фараоны, а через день, через два уже господа обер-офицеры; стоит только прийти волшебной телеграмме, после которой старший курс мгновенно разлетится, от мощного дуновения судьбы, по всем концам необъятной России. А через месяц придут в училище и новые фараоны.

И еще одно мудрое словесное постановление было утверждено на этом необыкновенном заседании в просторном столовом бараке...

«Но надо же позаботиться и о жалких фараонах. Все мы были робкими новичками в училище и знаем, как тяжелы первые дни и как неуверенны первые шаги в суровой дисциплине. Это все равно что учиться кататься на коньках или ходить на ходулях. И потому пускай каждый второкурсник внимательно следит за тем фараоном своей роты, с которым он всего год назад ел одну и ту же корпусную кашу. Остереги его вовремя, но вовремя и подтяни крепко. От веков в великой русской армии новобранцу был первым учителем, и помощником, и заступником его дядька-земляк».

Всю вескость последнего правила пришлось вскоре Александрову испытать на практике, и урок был не из нежных. Вставали юнкера всегда в семь часов утра; чистили сапоги и платье, оправляли койки и с полотенцем, мылом и зубной щеткой шли в общую круглую умывалку, под медные краны. Сегодняшнее сентябрьское утро было сумрачное, моросил серый дождик; желто-зеленый туман висел за окнами. Тяжесть была во всем теле, и не хотелось покидать кровати.

К Александрову подошел дежурный по роте, второкурсник Балиев, очень любезный и тихий армянин с оливковым лицом, испещренным веснушками.

– Вставайте же, Александров, – сказал он спокойно. – Вставайте.

– Да я сейчас, сейчас. Дайте полежать несколько минуток. Что вам стоит?

– А я вам говорю: вставайте немедленно! – возвысил голос Балиев.

– Ах, боже мой! Что же вам, жалко, что ли?

И вдруг он услышал через всю спальню резкий и гневный голос:

– Александров, молчать! Вставайте сию секунду!

В этом голосе было столько повелительного, что бедный фараон мгновенно вскочил на ноги, стряхнул с глаз сонную истому и сразу увидел, что кричал старший юнкер Тучабский. Это для Александрова было и дико и непонятно. Ведь это тот самый Тучабский, с которым они жили в тесной дружбе целых шесть корпусных лет, пока Александров не застрял на второй год в шестом классе. Раньше же у них было все общее: пополам покупали халву и нугу, вместе собирали коллекции растений, бабочек и перьев. Изобрели собственную, никому не понятную азбуку и таинственный разговорный язык. Вместе же они одно время увлекались пиротехникой: делали из серы, селитры, бертолетовой соли, толченого сахара и угля бенгальские огни, вертуны и шутихи и зажигали их вечером в ватерклозете. Также читали друг другу по очереди книги, принесенные с воли... Да ведь это он, Тучабский, прежний, милый друг Тучабский!.. Откуда же у него взялся этот страшный голос, который точно столкнул Александрова с постели на пол. И горько и обидно стало фараону. «Что же меня ждет дальше?»

А после обеда, когда наступило время двухчасового отдыха, Тучабский подошел к Александрову, сидевшему на койке, положил ему свою огромную руку на голову и сурово-ласково сказал:

– Ты не сердись на меня. Я тебе же добра желаю. И прошу перестать быть ершом. Здесь тебе не корпус, а военное училище с воинской службой. Да подожди, все обомнется, все утрясется... Так-то, дорогой мой.

И ушел.

Глава VI

Танталовы муки

Каждую среду на полдня и каждую субботу до вечера воскресенья юнкера ходили в отпуск. Злосчастные фараоны с завистью и с нетерпением следили за тем, как тщательно обряжались обер-офицеры перед выходом из стен училища в город; как заботливо стягивали они в талию новые прекрасные мундиры с золотыми галунами, с красным вензелем на белом поле. Мундиры, туго опоясанные широким кушаком, на котором перекрещивались две гренадерские пылающие гранаты. На левом боку кушака прикреплялся штык в кожаном футляре. Прежде – помнил Александров по своим ранним кадетским годам – оружием юнкера был не узенький, как селетка, штык, а тяжелый, широкий гренадерский тесак с медной витой рукоятью – настоящее боевое оружие, которым при желании свободно можно было бы оглушить быка. Александров уже знал, что совсем не его славные предки, «старинные александровцы», вызвали своим поведением такую прискорбную замену оружия. Вины были юнкера военного окружного училища, что в Красных казармах, те самые, которые после стажа в полку держат при своем училище экзамен на армейского подпрапорщика и которые набираются с бора по сосенке. Это они одной зимней ночью на Масленице завязали огромный скандал в области распревеселых непотребных домов на Драчевке и в Соболевом переулке, а когда дело дошло до драки, то пустили в ход тесаки, в чем им добросовестно помогли строевые гренадеры Московского округа. Около этого дурацкого события поднялся большой и, как всегда, преувеличенный шум, притушить который начальство не успело вовремя, и результатом был строгий общий разнос из Петербурга с приказом заменить во всем Московском гарнизоне тяжкие обоюдоострые тесаки невинными штыками...

Этот выходной костюм довершался летом – бескозыркой с красным околышем и кокардой, зимою – каракулевой низкой шапкой с золотым (медным) начищенным орлом. И тот и другой головной убор бывал лихо и вызывающе сдвинут на правый бок. Широкие черные штаны, по моде, заимствованной у императорских стрелков, надевались с широким напуском и низко заправлялись в *собственные* шикарные сапоги, французского или русского лака, стоявшие недешево. Постоянный училищный поставщик Ефремов брал за них с колодками от пятнадцати до восемнадцати рублей. Совсем, окончательно бедные юнкера принуждены были ходить в отпуск в казенных сапогах, слегка и вовсе уж не так дурно благоухавших дегтем. Зато белые замшевые перчатки были и обязательны и недороги: мыть их можно было хоть сто раз, и они ничуть не изнашивались. Да в училище никому бы не могло прийти в голову смеяться или глумиться над юнкером, родственники которого были людьми несостоятельными, часто многосемейными и живущими в глухой провинции на жалкую полковничью или майорскую пенсию. Случаи подобного издевательства были совсем неизвестны в домашней истории Александровского училища, питомцы которого, по каким-то загадочным влияниям, жили и возрастали на основах рыцарской военной демократии, гордого патриотизма и сурового, но благородного, заботливого и внимательного товарищества.

С особенной пристальностью следили, разинув рты, несчастные фараоны за тем, как обер-офицеры, прежде чем получить увольнительный билет, шли к курсовому офицеру или к самому Дрозду на осмотр.

– Почему косит борт? Зачем кокарда не посредине? Грудь морщит. Подтянуть! Кругом! Расправить складку на спине!

Но вот ровным, шегольским, учебным шагом подходит, громыхая казенными сапожниками, ловкий «господин обер-офицер». Раз, два. Вместе с приставлением правой ноги рука в белой перчатке вздергивается к виску. Прием сделан безупречно. Дрозд осматривает молодцеватого юнкера с ног до головы, как лошадиный знаток породистого жеребца.

– Хорошо, юнкер. И одет безупречно. За версту видно бравого александровца. Видно сову по полету, добра молодца по соплям.

– Рад стараться, ваше высокоблагородие!

– Ступайте с богом. – Двухприемный, крепкий поворот налево, и юнкер освобожден.

Новичкам еще много остается дней до облачения в парадную форму и до этого обязательного осмотра. Но они и сами с горечью понимают, что такая красивая, ловкая и легкая отчетливость во всех воинских движениях не дается простым подражанием, а приобретает долгую практикой, которая наконец становится бессознательным инстинктом.

До безумия, до чесотки хочется в отпуск, но нечего об этом счастья и думать. Не успел еще фараон дозреть до отпуска. Медленно ползут дни и недели скучного томления. Роздых и умягчение фараонским душам бывает только по четвергам. Каждый четверг за обедом играет в полуподвальной громадной каменной юнкерской столовой училищный оркестр. Этот оркестр и его изумительный дирижер, старый Крейнбринг, которого помнят древнейшие поколения александровцев, составляют вместе одну из почтенных московских достопримечательностей.

Всем юнкерам, так же как и многим коренным москвичам, давно известно, что в этом оркестре отбывают призыв лучшие ученики московской консерватории, по классам духовых инструментов, от начала службы до перехода в великолепный Большой московский театр. Юнкера – великие мастера проникнуть в разные крупные и малые дела и делишки – знают, что на флейте играет в их оркестре известный Дышман, на корнет-а-пистоне – прославленный Зеленчук, на гобое – Смирнов, на кларнете – Михайловский, на валторне – Чародей-Дудкин, на огромных медных басах – наемные, сверхсрочно служащие музыканты гренадерских московских полков, бывшие ученики старого требовательного Крейнбринга, и так далее. Барабанщик же Александровского оркестра – несменяемый великий артист Индурский, из кантонистов, одноклассник с Крейнбрингом, – маленький, стройный старичок с черными усами и с седыми баками по пояс. Он первейший из всех барабанщиков Московского военного округа, а может быть, всего мира. Говорят, что однажды состоялось в московском манеже торжественное состязание специалистов по маленькому барабану, и Индурский блистательно вышел из него первым. Всем известно, что Индурский никому не хочет сообщить тайну своей несравненной дроби и унесет ее с собой в могилу. Что поделаешь? Во всяком военном училище есть такого рода безвредный, немножко смешной со стороны, невинный и наивный шовинизм.

Садясь за четверговой обед, юнкера находят на столах музыкальную программу, писанную круглым военно-писарским «рондо» и оттиснутую гектографом. В нее обыкновенно входили новые штраусовские вальсы, оперные увертюры и попури, легкие пьесы Шуберта, Шумана, Мендельсона и Вагнера. Оркестр Крейнбринга был так на славу выдрессирован, что исполнял самые деликатные подробности, самое сладкое пиано с тонким совершенством хорошего струнного оркестра.

Нередко юнкера аплодировали, но старый, немного горбатый Крейнбринг не обращал никакого внимания на эти знаки поощрения. Иногда юнкера просили сыграть одну из своих любимых вещиц, например, «Мельницу», «Марш Буланже», «Турецкий патруль», увертюру из «Руслана» или особенно «Почту в лесу». Последняя пьеска игралась с фокусом, чрезвычайно занимательным. Великий мастер корнет-а-пистона Зеленчук перед началом номера незаметно для юнкеров уходил из столовой и прятался в конце длинного-предлинного коридора. Вся прелесть состояла в том, что, как только кончалась оркестровая интродукция, Зеленчук вплетал в нее тихий, немного печальный отзыв, шедший как будто в самом деле из далекой глубины леса. И таким образом оркестр довольно долго переключался с заблудившимся почтальоном, все время приближаясь друг к другу, пока не встречались в общем хоре.

Но упросить Крейнбринга бывало не легко. Этот старый немец отличался козлиным упрямством. С высоты своей славы – пусть только московской, но несомненной – он, как и почти все музыкальные маэстро, презирал большую, невежественную толпу и был совсем не

чувствителен к комплиментам. Москвичи говорили про него, что он уважает только двух человек на свете: дирижера Большого театра, строптивного и властного Авранека, а затем председателя немецкого клуба, фон Титцнера, который в честь компатриота и сочлена выписывал колбасу из Франкфурта и черное пиво из Мюнхена.

Но одну вещь, весьма ценимую юнкерами, он не только часто ставил в четверговые программы, но иногда даже соглашался повторять ее. Это была увертюра к недоконченной опере Литольфа «Робеспьер». Кто знает, почему он давал ей такое предпочтение: из ненависти ли к великой французской революции, из почтения ли к личности Робеспьера или его просто волновала музыка Литольфа?

В этой героической увертюре в самом финале есть страшный эффект, производимый резким и грозным ударом литавров: это тот момент, когда тяжелый стальной нож падает на склоненную шею «Неподкупного».

Между юнкерами по поводу этой увертюры ходило давнее предание, передававшееся из поколения в поколение. Рассказывали, что будто бы первым литавщиком, исполнявшим роковой удар гильотины, был никому не известный скромный маленький музыкант, личный друг Крейнбринга еще с детских лет.

Говорили дальше, что этот музыкант пришел однажды в оркестр в каком-то особенно серьезном, почти торжественном настроении. На расспросы товарищей он отвечал нехотя и равнодушно, но сказал одному из них, якобы самому Крейнбрингу: «Сегодня вы услышите такой удар гильотины, которого не забудете никогда в жизни». И правда. Случилось нечто невероятно жуткое. Безданный музыкант выждал точно определенную секунду и ударил в литавры с необычайной силой. Но тут же он упал на пол, пораженный разрывом сердца. Уверяли еще старые юнкера молодых, что будто бы Крейнбринг научил барабанщика Индурского этому необыкновенному удару в память своего преждевременно скончавшегося друга... Так же, как и сам в память его играл увертюру. Что здесь было правдой и что выдумкой, никто не удосужился проверить; спросить же сердитого, важного и молчаливого Крейнбринга никто бы не отважился, да он, кажется, знал по-русски одни музыкальные слова, но все равно: юному сердцу нельзя жить без романтики.

Конечно, прекрасен был училищный оркестр, гордость александровцев, и ждали юнкера четвергового концерта с жадным нетерпением; но для бедных желторотых фараонов один час вокального наслаждения далеко не искупал многих часов беспрестанной прозаической строгайшей муштры и неловкой связанности и беспомощности в чужом, еще не обжитом доме, в котором невольно натыкаешься на все углы и косяки.

Первое, чему неизбежно учили каждого юнкера, была заповедь:

– Сначала забудьте все то, чему вас учили в кадетском корпусе. Теперь вы не мальчики, и каждый из вас в случае надобности может быть мгновенно призван в состав действующей армии и, следовательно, отправлен на поле сражения. Значит, каждого указания и приказания старших слушаться и подчиняться ему беспрекословно.

И правда, очень многому, почти всему, приходилось переучиваться заново.

– Чтобы плечи и грудь были поставлены правильно, – учил Дрозд, – вдохни и набери воздуха столько, сколько можешь. Сначала затаи воздух, чтобы запомнить положение груди и плеч, и когда выпустишь воздух, оставь их в том же самом порядке, как они находились с воздухом. Так вы и должны держаться в строю.

Всегда ходи и держись, даже вне строя, так, как подобает воину. Не шаркайте подметками, не везите, не волочите ног по полу. Шаг легкий, быстрый, крупный и веселый. Идете вдвоем, непременно в ногу. Даже когда идешь один, в уборную, и то иди, как будто идешь в ногу. Никогда не горбиться. Для этого научись держать высоко голову, однако не выставляя вперед подбородок и, наоборот, втягивая его в себя... Александров! Сейчас вы промаршируете вперед и назад. Попробуйте идти сгорбившись, а голову как можно выше. Ну! Шагом марш!

Раз-два, раз-два! Стой! Ну, что, юнкер Александров? Ловко ли сутулиться, а голову держать высоко?

– Никак нет, ваше высокоблагородие (так величали юнкера офицеров в строю и по службе). Даже, скорее, трудно.

– Ну вот, теперь поняли? А жаль, что вы сами себя в это время не видели. Зрелище было довольно-таки гнусное... Итак, друзья мои, никогда не забывайте, что на вас вся Москва смотрит. Гляди, как орел, ходи женихом. Вы же, юнкера второго курса, следите зорко за этими желторотыми. Не скупитесь на замечания и выговоры. Им это будет только на пользу. Ибо, – и тут он повысил голос до окрика, – ибо, как только увижу, что мой юнкер переваливается, как брюхатая попадьа, или ползет, как вошь по мокрому месту, или смотрит на землю, как разочарованная свинья, или свесит голову набок, подобно этакому увядающему цветку, – буду греть беспощадно: лишние дневальства, без отпуска, арест при исполнении служебных обязанностей.

Да, это были дни воистину учетверенного нагревания. Грел свой дядька-однокурсник, грел свой взводный портупей-юнкер, грел курсовой офицер и, наконец, главный разогреватель, красноречивый Дрозд, лапидарные поучения которого как-то особенно ядовито подчеркивались его легким и характерным заиканием.

Учили строевому маршу с ружьем, обязательно со скатанной шинелью через плечо и в высоких казенных сапогах, но учили также и легкой уверенной красивой городской походке. Учили простой стойке, с ружьем и без ружья. Учили или, вернее, переучивали ружейные приемы.

Сравнительно с легкими драгунскими берданками, которые употреблялись в корпусе, двенадцати с половиною фунтовые пехотные винтовки были с непривычки тяжеловаты. Поднять за штык на вытянутой руке такую винтовку мог среди первокурсников один Жданов.

Но больше всего было натаскивания и возни с тонким искусством отдания чести. Учились одновременно и во всех длинных коридорах и в бальном (сборном) зале, где стояли портреты выше человеческого роста императора Николая I и Александра II и были врезаны в мраморные доски золотыми буквами имена и фамилии юнкеров, окончивших училище с полными двенадцатью баллами по всем предметам.

Здесь практически проверялась память: кому и как надо отдавать честь. Всем господам обер- и штаб-офицерам чужой части надлежит простое прикладывание руки к головному убору. Всем генералам русской армии, начальнику училища, командиру батальона и своему ротному командиру честь отдается, становясь во фронт.

– Смотри, Александров, – приказывает Тучабский. – Сейчас ты пойдешь ко мне навстречу! Я – командир батальона. Шагом марш, раз-два, раз-два... Не отчетливо сделал полуоборот на левой ноге. Повторим. Еще раз. Шагом марш... Ну а теперь опоздал. Надо начинать за четыре шага, а ты весь налез на батальонного. Повторить... раз-два. Эко, какой ты непонятливый фараон! Рука приставляется к борту бескозырки одновременно с приставлением ноги. Это надо отчетливо делать, а у тебя размазня выходит. Отставить! Повторим еще раз.

Конечно, эти ежедневные упражнения казались бы бесконечно противными и вызывали бы преждевременную горечь в душах юношей, если бы их репетиторы не были так незаметно терпеливы и так сурово участливы.

Случалось, они резко одергивали своих птенцов и порою, чтобы расцветить монотонность однообразной работы, расцветчивали науку острым, крупным солдатским словечком, сбереженным от времен далеких училищных предков. Но злоба, придиричивость, оскорбление, издевательство или благоволение к любимчикам совершенно отсутствовали в их обращении с младшими. Училищное начальство – и Дрозд в особенности – понимало большое значение такого строгого и мягкого, семейного, дружеского военного воспитания и не препятствовало

ему. Оно по справедливости гордилось ладным табуном своих породистых однолеток и двухлеток жеребчиков – горячих, смелых до дерзости, но чудесно послушных в умных руках, умело соединяющих ласку со строгостью.

Прежний начальник училища, ушедший из него три года назад, генерал Самохвалов, или, по-юнкерски, Епишка, довел пристрастие к своим молодым питомцам до степени, пожалуй, немного чрезмерной. Училищная неписаная история сохранила многие предания об этом взбалмошном, почти неправдоподобном, почти сказочном генерале.

Ему ничего не стоило, например, нарушить однажды порядок торжественного парада, который принимал сам командующий Московским военным округом. Несмотря на распоряжение приказа, отводившего место батальону Александровского училища непосредственно позади гренадерского корпуса, он приказал ввести и поставить свой батальон впереди гренадер. А на замечание командующего парадом он ответил с великолепной самоуверенностью:

– Московские гренадеры – украшение русской армии, но согласитесь, ваше превосходительство, с тем, что юнкера Александровского училища – это московская гвардия.

И он настоял на своем. Неизвестно, как сошла ему с рук эта самодурская выходка. Впрочем, вся Москва любила свое училище, а Епишка, говорят, был в милости у государя Александра II.

Рассказывали о таком случае: какой-то пехотный подпоручик, да еще не Московского гарнизона, да еще, говорят, не особенно трезвый, придрался на улице к юнкеру-второкурснику якобы за неправильное отдавание чести и заставил его несколько раз повторить этот прием. Собралась глазастая московская толпа. Юнкер от стыда, от оскорбления и бешенства сделал чрезвычайно тяжелый дисциплинарный проступок. Заметив проезжавшего легкой рысью лихача на серой лошади, он вскочил в пролетку и крикнул: «Валяй вовсю!» Примчавшись в училище, потрясенный только что случившейся с ним бедою, он прибежал к Самохвалову и рассказал ему подробно все свершившееся с ним. Епишка кричал на него благим матом с полчаса, а потом закатал его в карцер, всей полнотой своей грузной начальнической власти, под усиленный арест. Когда же прибыл в училище обиженный пехотный подпоручик со своею жалобой, Самохвалов приказал выстроить все училище.

– Юнкер моего училища, – сказал он, – не мог бы совершить такого проступка. Впрочем, сделайте милость, вот вам все мои юнкера. Ищите виновного.

Конечно, подпоручик, растерявшийся под обстрелом четырехсот пар насмешливых и недружелюбных взглядов, не нашел своего обидчика, а юнкер благополучно избег отдачи в солдаты почти накануне производства.

Много других подобных поблажек делал Епишка своим возлюбленным юнкерам. Нередко прибегал к нему юнкер с отчаянной просьбой: по всем отраслям военной науки у него баллы душевного спокойствия, но преподаватель фортификации только и знает, что лепит ему шестерки и даже пятерки... Невзлюбил сироту! И вот в среднем никак не выйдет девяти, и прощай теперь, первый разряд, прощай, старшинство в чине...

Тогда Епишка неизменно гнал юнкера в карцер, оставлял на две недели без отпуска и назначал на три внеочередных дежурства. А потом вызывал к себе учителя, полковника инженерных войск, и ласково, убедительно, мягко говорил ему:

– Ах, полковник! Я ведь давно позабыл высокое искусство фортификации. Помню как сквозь сон: Вобана, Тотлебена, ну там какие-то барбетты, траверсы, капониры... а вы ведь в этом деле восходящая звезда первой величины. Но согласитесь же, полковник: разве мой юнкер может знать фортификацию меньше, чем на девять, тем более такой отличный юнкер? Краса и гордость училища. Уверяю вас, он будет самым достойным офицером. Но куда же ему в инженеры? Тут необходим талант и такая светлая голова, как у вас. Ну, согласитесь же с тем, что скрепя сердце все-таки можно моему юнкеру натянуть на девятку?

И полковник соглашался.

– Бог с ним, с этим сумбурным Епишкой... Уж лучше с ним не связываться.

Но странно: юнкерам был забавен Самохвалов своей закидливостью и своим фейерверчным темпераментом; ценили его преданность училищу и его гордость своими александровцами. Но в глубине души не любили и не уважали его одну несправедливую черту. Ублажая и распуская юнкеров, он с беспощадной, бурбонской жестокой грубостью обращался с подчиненными ему офицерами. Необыкновенно тяжелы были его взыскания, налагаемые на офицеров, но еще труднее им было переносить, в присутствии юнкеров, его замечания и выговоры, переходящие порой в бесстыдные ругательства, оскорблявшие и их и его честь.

Впрочем, на этой почве его ждало тяжелейшее возмездие. Первым вышел из терпения штабс-капитан Квалиев, грузин, герой турецкой кампании 1877—1878 годов, георгиевский кавалер, тяжело раненный при взятии Плевны, офицер, глубоко почитаемый юнкерами. После одной из безобразных выходок Самохвалова Квалиев пришел к нему на квартиру и потребовал от него объяснений (говорят, что от лица всех офицеров). В результате этого свидания было то, что Самохвалов оставил училище и был переведен командиром бригады на крайний юг России. Про Квалиева говорили мало и темно. Были вести, что он покончил впоследствии жизнь самоубийством.

Глава VII Под знамя!

На земле, а может быть, почем знать, и в целом мироздании, существует один-единственный непреложный закон:

«Все на свете должно рано или поздно окончиться, и никто и ничто не избежит этого веления».

Через месяц окончилась казавшаяся бесконечной усиленная тренировка фараонов на ловкость, быстроту, красоту и точность военных приемов. Наступил момент, когда строгие глаза учителей нашли прежних необработанных новичков достаточно спелыми для высокого звания юнкера Третьего военного Александровского училища. Вскоре пронеслась между фараонами летучая волнующая весть: «В эту субботу будем присягать!»

Давно пригнанные парадные мундиры спешно, в последний раз, примерялись в цейхгаузах. За тяжелое время непрестанной гоньбы молодежь как будто выросла и осунулась, но уже сама невольно чувствует, что к ней начинает прививаться та военная прямизна и подтянутость, по которой так нетрудно узнать настоящего солдата даже в вольном платье.

Наступает суббота. В этот день учебные и иные занятия длятся только три часа, только до завтрака. Придя от завтрака в ротные помещения, юнкера находят разостланную служителями по постелям первосрочную, еще пахнущую портняжной мастерской одежду.

– Й-э, ж-живо одеваться! – командует Дрозд. – Й-э, чтобы ни морщинки, ни складочки! Фельдфебель Рукин строит роту в две шеренги.

– С богом, – командует Дрозд.

Все четыре роты, четыреста человек, неторопливо выливаются на большой внутренний учебный плац и выстраиваются в двухзводных колоннах: на правом фланге юнкера старшего курса с винтовками; на левом – первокурсники без оружия. Перед строем священники: православный – в черной сутане, с четырехугольной шапочкой на голове; лютеранский – в длинном, ниже колен, сюртуке, из воротника которого выступает большой белоснежный галстук; магометанский мулла – в бело-зеленой чалме. У ворот, ведущих в манеж и конюшню, расположился училищный оркестр. Ротные командиры и курсовые офицеры при своих ротах. Посередине и впереди батальонный командир Артабалеvский, по юнкерскому прозвищу Берди-Паша, узкоглазый, низко стриженный татарин; его скуластое, плотное лицо, его широкая спина и выпуклая грудь кажутся вылитыми из какого-то упругого огнеупорного материала.

Заметив издали начальника училища, выходящего из своей квартиры, он командует: «Смирно, глаза направо!» Начальник училища, генерал Анчутин, приближается к строю. Он необыкновенно высок, на целую голову выше правофлангового юнкера первой роты, и веско внушителен, пожалуй даже величествен. Юнкера его зовут Статуей Командора. И правда, он похож на Каменного гостя, когда изредка, не более пяти-шести раз в год, он проходит медленно и тяжело по училищному квадратному коридору, прямой, как башня, похожий на Николая I, именно на портрет этого императора, что висит в сборном зале; с таким же высоким куполообразным лбом, с таким же суровым и властным выражением лица. С юнкерами он никогда не здоровается вслух. Да у него и нет вовсе голоса, а какое-то слабое сипение.

Под Рушуком, командуя Ростовским гренадерским полком, он был ранен пулей в горло навылет и с тех пор дышит через серебряную трубку. За военные подвиги в Турецкую войну он был пожалован пожизненным ношением мундира Ростовского полка и почетным местом начальника Александровского училища. При его молчаливо-торжественном обходе юнкера поочередно делают ему глубокие придворные поклоны, которым их на уроках танцев беспрестанно учит балетмейстер Большого театра, Петр Алексеевич Ермолов. И в ответ на эти поклоны, строго выдержанные в три темпа, Анчутин только опускает и подымает веки... Впро-

чем, однажды Александрову довелось услышать хоть и очень краткую, но цельную речь ростовского генерала, которую он не забыл в течение всей своей жизни.

Напрягая все силы испорченных горловых связок, замогильным, шипящим голосом приветствует Анчутин батальон:

– Здравствуйте, юнкера!

Задним совсем не слышен его голос; они следят за движением губ; эта уловка была уже много раз заранее репетирована.

– Здравия желаем, ваше превосходительство!

Анчутин слегка, едва заметно, кивает головой священникам и делает глазами знак командиру батальона.

Полковник Артабалевский выходит перед серединой батальона. Азиатское лицо его напрягается.

– Под знамя! – командует он резким металлическим голосом и на секунду делает запятую. – Слушааай (небольшая пауза)... На крааа (опять пауза)... – И вдруг, коротко и четко, как удар конского бича: – ...ул!

Фараонам нельзя поворачивать голов, но глаза их круто скошены направо, на полубатальон второкурсников. Раз! Два! Три! Три быстрых и ловких дружных приема, звучащих, как три легких всплеска. Двести штыков уперлись прямо в небо; сверкнув серебряными остриями, замерли в совершенной неподвижности, и в тот же момент великолепный училищный оркестр грянул торжественный, восхищающий души, радостный марш.

Знамя показалось высоко над штыками, на фоне густо-синего октябрьского неба. Золотой орел на вершине древка точно плыл в воздухе, слегка подымаясь и опускаясь в такт шагам невидимого знаменщика.

Знамя остановилось у аналоя. Раздалась команда: «На молитву! Шапки долой!» – И затем послышался негромкий тягучий голос батальонного священника, отца Иванцова-Платонова:

– Сложите два перста... вот таким вот образом, и подымите их вверх. Теперь повторяйте за мною слова торжественной военной присяги.

Юнкера зашевелились и сейчас же опять замерли с пальцами, устремленными в небо.

– Обещаюсь и клянусь, – произнес нараспев священник.

Точно ветер пробежал по рядам: «Обещаюсь, обещаюсь, клянусь, клянусь, клянусь...»

– Всемогущим Богом, перед святым его Евангелием.

И опять по строю пронесся густой, тихий ропот:

– Перед Богом, перед Богом...

– В том, что хочу и должен...

Формула присяги, составленная еще Петром Великим, была длинна, точна и строга. От иных ее слов становилось жутко.

«Обещаюсь и клянусь Всемогущим Богом, перед святым Его Евангелием, в том, что хочу и должен его императорскому величеству, самодержцу всероссийскому и его императорского величества всероссийского престола наследнику верно и нелицемерно служить, не щадя живота своего, до последней капли крови, и все к высокому его императорского величества самодержавству, силе и власти принадлежащая права и преимущества, узаконенные и впредь узаконяемые, по крайнему разумению, силе и возможности, исполнять.

Его императорского величества государства и земель его врагов, телом и кровию, в поле и крепостях, водою и сухим путем, в баталиях, партиях, осадах и штурмах и в прочих воинских случаях храброе и сильное чинить сопротивление и во всем стараться споспешествовать, что к его императорского величества верной службе и пользе государственной во всяких случаях касаться может. Об ущербе же его императорского величества интереса, вреде и убытке, как скоро о том уведаю, не токмо благовременно объявлять, но и всякими мерами отвращать и не допускать потщуся и всякую вверенную тайность крепко хранить буду, а предпоставленным

над мною начальникам во всем, что к пользе и службе государства касаться будет, надлежащим образом чинить послушание и все по совести своей исправлять и для своей корысти, свойства, дружбы и вражды против службы и присяги не поступать; от команды и знамени, где принадлежу, хотя в поле, обозе или гарнизоне, никогда не отлучаться, но за оным, пока жив, следовать буду и во всем так себя вести и поступать, как честному, верному, послушному, храброму и расторопному офицеру (солдату) надлежит. В чем да поможет мне Господь Бог Всемогущий. В заключение сей клятвы целую слова и крест Спасителя моего. Аминь».

Но еще страшнее были те выдержки из регламента, которые вслед за присягою стал вычитывать батальонный адъютант, поручик Лачинов, с волосами светлыми и курчавыми, как у барашка. Тут перечислялись всевозможные виды поступков и преступлений против военной дисциплины, против знамени и присяги. И после каждой строки тяжело падали вниз свинцовые слова:

– Смертная казнь... Смертная казнь!

Впечатлительный Александров успел уже раз десять вообразить себя приговоренным к смерти, и волосы у него на голове порою холодели и делались жесткими, как у ежа. Зато очень утешили и взбодрили его дух отрывки из статута ордена св. Георгия-победоносца, возглашенные тем же Лачиновым. Слушая их ушами и героическим сердцем, Александров брал в воображении редуты, заклепывал пушки, отнимал вражеские знамена, брал в плен генералов...

Затем юнкера целовали поочередно крест и Евангелие и возвращались на свои места.

– На-кройсь! – скомандовал Берди-Паша. – Под знамя, слушай, на кра-ул!

Знамя было унесено. Церемония присяги кончилась. Юнкера строем разошлись по ротным помещениям.

Стоя перед двумя шеренгами первокурсников, Дрозд говорит, слегка покачиваясь взад и вперед на носках:

– Ну-э-вот. Вы теперь настоящие юнкера. Поздравляю вас.

– Рады стараться, ваше высокоблагородие!

– Но все-таки вы-э-не забывайте, что настоящее ваше звание – солдаты. Солдат есть имя высокое и знаменитое. Первейший генерал, последний рядовой – то есть солдат. И потому помните, что за особо важный против дисциплины поступок каждый из вас может быть прямо из училища отправлен вовсе не домой к папе, маме, дяде и тете, а рядовым в пехотный полк... Надеюсь, в моей роте этого никогда не случится, как, впрочем, и во всем училище почти никогда не случалось... Но помните: за лень, невнимание, разнузданность, расхлябанность и особенно за ложь буду гнать и греть без всякой пощады. И за унылый вид – тоже. А теперь, кто хочет, могут идти в отпуск. Явиться завтра дежурному офицеру не позднее восьми часов вечера. За каждую минуту опоздания – одно лишнее дневальство. На улице держать себя молодцами и кавалерами. Отныне вы – под знаменем! Разойтись.

Как странно, как легко и как чудесно ново чувствовал себя Александров, очутившись на Знаменской улице, на людной и все-таки очень широкой Арбатской площади и, наконец, на Поварской с ее двухэтажными прекрасными аристократическими особняками! Натренированные ноги, делая большие и уверенные шаги, точно не касались тротуара. Веселило чувство красивого, ловко пригнанного, туго обтянутого мундира. Свежие тесные белые перчатки радовали руки и зрение. «Кому первому придется отдать честь?» – задумал Александров, и тотчас же из узкого переулочка навстречу ему вышел артиллерийский поручик. Александров тотчас же быстро приложил руку к бескозырке. Но артиллерист, мило улыбнувшись, принял честь и сказал:

– Опустите руку, господин юнкер. Ну, что? Я ошибаюсь или нет? Вы сегодня принимали присягу? Правда?

– Так точно, господин поручик. Как вы могли узнать?

– Ах, очень просто. По выражению лица. Я как увидел вас, так и сделал себе такое же лицо, и сразу подумал: вот такое выражение было у меня после присяги. И даже в том же милом Александровском училище. Ну, желаю вам всего хорошего. С богом!

Они крепко пожали друг другу руки и разошлись в разные стороны. «Какой, однако, душка этот маленький артиллерист», – с умилением подумал Александров.

Потом он сделал подряд две грубые ошибки. Стал – и даже очень красиво стал – во фронт двум генералам: но один оказался отставным, а другой интендантским. Первый раза три или четыре торопливо ответил юнкеру отданием чести, а второй сказал ему густым приветливым баском: «Очень рад, молодой человек, очень, очень рад вас увидеть и с вами познакомиться».

Прошел месяц. Александровское училище давало в декабре свой ежегодный блестящий бал, попасть на который считалось во всей Москве большим почетом. Александров послал Синельниковым три билета (больше не выдавалось). В вечер бала он сильно волновался. У юнкеров было взаимное соревнование: чьи дамы будут красивее и лучше одеты.

Огромный сборный зал, свободно вмещавший четыреста юнкеров, был обращен в цветник, в тропический сад. Ротные курилки и умывалки обратились в изящные дамские уборные, знаменитый оркестр Крейнбринга уже настраивал под сурдинку инструменты.

Уже в двадцатый раз Александров перевешивался через массивные дубовые перила, заглядывая вниз в прихожую, застланную красным сукном, отыскивая своих дам, чтобы успеть помочь им раздеться. И вот наконец-то они. Пулею слетает Александров вниз. Но их только двое – Оля и Люба в сопровождении Петра Ивановича Боброва, какого-то молодого юриста, который живет у Синельниковых под видом дяди и почти никогда не показывается гостям. Он во фраке. На обеих девочках вязаные пышные капоры: на Оле голубой, на Любе розовый. Эти капоры новинка. Их только в нынешнем году начали носить в Москве, и они так же очаровательно идут к юным женским лицам, раздраненным морозом, как шли когда-то шляпки глубокой кибиточкой, завязанной широкими лентами. Пахнет от девочек вкусно – арбузом, морозом, духами иланг-иланг, и мехом шубок, и свежим дыханием. Они поправляются перед огромным зеркалом и идут за Александровым наверх.

– А что же Юлия Николаевна? – спрашивает юнкер.

– Она очень жалеет, что не может быть у вас на балу. Она сегодня очень занята. Она поздравляет вас с праздником и велела передать вам вот этот сверток. Там подарок вам на память. Возьмите.

Александров провожает дам в обширный зал. Оркестр нежно, вкрадчиво, заманчиво играет штраусовский вальс. Дамы Александра производят сразу блистательное впечатление.

Юнкера, как пчелы, облепляют их.

У Александра остается свободная минутка, чтобы побежать в свою роту, к своему шкафчику. Там он разворачивает белую бумагу, в которую заверочена небольшая картонка. А в картонке на ватной постельке лежит фарфоровая голубоглазая куколка. Он ищет письмо. Нет, одна кукла. Больше ничего.

Он возвращается в зал. Ольга свободна. Он приглашает ее на вальс. Гибко, положив нагую руку на его плечо и слегка грациозно склонив голову, она отдается волшебному ритму вальса, легко кружась в нем. Глаза их на мгновение встречаются. В глазах ее томное упоение.

– Теперь я скажу вам о вашей Юлии, – шепчет она горячим и ароматным дыханием. – У нас сегодня помолвка. Юлия выходит замуж за Покорни.

И сам Александров удивляется своему спокойствию, с которым он встречает эту черную весть. Он таким же горячим шепотком говорит:

– Дай ей бог счастья. Но мне это все равно. Я давно уже и до смерти люблю вас, Оля.

И она отвечает, поправляя свои разбежавшиеся кудряшки:

– Ах! Если бы я могла этому верить!

И задорно смеется.

Глава VIII Торжество

Прошло около двух месяцев со вступления Александрова в белые стены училища. Хотя он еще долгое время, как юнкер младшего класса, будет носить общее прозвище «фараон» (старший курс – это господа обер-офицеры), но из него уже вырабатывается настоящий юнкер-александровец. Он всегда подтянут, прям, ловок и точен в движениях. Он гордится своим училищем и ревностно поддерживает его честь. Он бесповоротно уверен, что из всех военных училищ России, а может быть, и всего мира, Александровское училище самое превосходное. И это убеждение, кажется ему, разделяет с ним и вся Москва – Москва, которая так пристрастно и ревниво любит все свое, в пику чиновному и холодному Петербургу: своих лихачей, протодиаконов, певцов, актеров, кулачных бойцов, купцов, профессоров, певчих, поваров, архиереев и, конечно, своих стройных, молодых, всегда прекрасно одетых, вежливых юнкеров со Знаменки, с их чудесным, несравненным оркестром.

Живется юнкерам весело и свободно. Учиться совсем не так трудно. Профессора – самые лучшие, какие только есть в Москве. Искусство строевой службы доведено до блестящего совершенства, но оно не утомляет: оно граничит со спортивным соревнованием. Правда, его однообразие чуть-чуть прискучивает, но домашние парады с музыкой в огромном манеже на Моховой вносят и сюда некоторое разнообразие. А кроме того, строевое старание поддерживается далекой, сладкой, сказочной мечтой о царском смотре или царском параде. Каждому юнкеру втайне кажется несправедливостью судьбы, что государь живет не в Москве, а в Питере. Но об этом не говорят.

В октябре 1888 года по Москве разнесся слух о крушении царского поезда около станции Борки. Говорили смутно о злостном покушении. Москва волновалась. Потом из газет стало известно, что катастрофа чудом обошлась без жертв. Повсюду служились молебны, и на всех углах ругали вслух инженеров с подрядчиками. Наконец пришли вести, что Москва ждет в гости царя и царскую семью: они приедут поклониться древним русским святыням.

Все эти слухи и вести проникают в училище. Юнкера сами не знают, чему верить и чему не верить. Как-то нелепо странна, как-то уродливо неправдоподобна мысль, что государю, вершинной, единственной точке той великой пирамиды, которая зовется Россией, может угрожать опасность и даже самая смерть от случайного крушения поезда. Значит, выходит, что и все существование такой необъятно большой, такой неизмеримо могучей России может зависеть от одного развинтившегося дорожного болта.

Утром, после переклички, фельдфебель Рукин читает приказ: «По велению государя императора встречающие его части Московского гарнизона должны быть выведены без оружия. По распоряжению коменданта г. Москвы войска выстроятся шпалерами в две шеренги от Курского вокзала до Кремля. Александровское военное училище займет свое место в Кремле от Золотой решетки до Красного крыльца. По распоряжению начальника училища батальон выйдет из помещения в 11 час.»

Ровно в полдень в центре Кремля, вдоль длинного и широкого дубового помоста, крытого толстым красным сукном, выстраиваются четыре роты юнкеров Третьего военного Александровского училища. Четыреста юношей в возрасте от восемнадцати до двадцати лет. Юнкер четвертой роты Алексей Александров стоит в первой шеренге. Царь пройдет мимо него в трех-четыре шагах, ясно видимый, почти осязаемый. Воображению Александрова «царь» рисуется золотым, в готической короне, «государь» – ярко-синим с серебром, «император» – черным с золотом, а на голове шлем с белым султаном.

Ждут долго. Вывели за два часа, по необычному случаю. Еще в училище свои портупей-юнкера и ротные офицеры осматривали каждого с заботливостью матери, отправляющей

шестнадцатилетнюю дочь на первый бал. Теперь в Кремле нет-нет подойдет курсовой офицер, одернет складку шинели, поправит поясную медную бляху с изображением пылающей гранаты, надвинет еще круче на правый глаз круглую барашковую шапку с начищенным двуглавым орлом. Государь, конечно, все заметит своим сверхчеловеческим взором: и недотянутый конец башлыка, и неровно надетую шапку, и вздувшуюся складку. Заметит, но никому не скажет, только огорчится на александровцев. Сияет над Кремлем голубое холодное небо. Золото солнца расплескалось на соборных куполах, высоко кружатся голуби. Осенний запах.

Ожидание не томит. Все радостно и легко возбуждены. Давно знакомые молодые лица кажутся совсем новыми; такими они стали свежими, ясными и значительными, разрумившись и похорошев в крепком осеннем воздухе.

В голове как шампанское. Скользит смутно одна опасливая мысль: так необыкновенно, так нетерпеливо волнуют эти счастливые минуты, что, кажется, вдруг перегорить в ожидании, вдруг не хватит чего-то у тебя для самого главного, самого большого.

И вот какое-то внезапное беспокойство, какая-то быстрая тревога пробегает по расстроенным рядам. Юнкера сами выпрямляются и подтягиваются без команды. Ухо слышит, что откуда-то справа далеко-далеко раздается и нарастает особый, до сих пор неразличимый шум, подобный гулу леса под ветром или прибою невидимого моря.

Командуют «смирно». Выравнивают. Опять «смирно». Потом на минуту «вольно». Опять «смирно». Позволяют размять ноги, не передвигая ступней. Так без конца. Так бывает всегда на парадах. Но на этот раз из юнкеров никто не обижается.

Какими словами мог бы передать юнкер Александров это медленно наплывающее чудо, которое должно вскоре разрешиться бурным восторгом, это страстное напряжение души, растущее вместе с приближающимся ревом толпы и звоном колоколов. Вся Москва кричит и звонит от радости. Вся огромная, многолюдная, крепкая старая царева Москва. Звонят и Благовещенский, и Успенский соборы, и Спас за решеткой, и, кажется, загремел сам Царь-колокол и загрохотала сама Царь-пушка!

А когда в этот ликующий звуковой ураган вплетают свои веселые медные звуки полковые оркестры, то кажется, что слух уже пресыщен – что он не вместит больше.

Но вот заиграл на правом фланге и их знаменитый училищный оркестр, первый в Москве. В ту же минуту в растворенных настежь сквозных золотых воротах, высясь над толпою, показывается царь. Он в светлом офицерском пальто, на голове круглая низкая барашковая шапка. Он величествен. Он заслоняет собою все окружающее. Он весь до такой степени исполнен нечеловеческой мощи, что Александров чувствует, как гнется под его шагами массивный дуб помоста.

Царь все ближе к Александрову. Сладкий острый восторг охватывает душу юнкера и несет ее вихрем, несет ее ввысь. Быстрые волны озноба бегут по всему телу и приподнимают ежом волосы на голове. Он с чудесной ясностью видит лицо государя, его рыжеватую, густую, короткую бороду, соколиные размахи его прекрасных союзных бровей. Видит его глаза, прямо и ласково устремленные в него. Ему кажется, что в течение минуты их взгляды не расходятся. Спокойная, великая радость, как густой золотой песок, льется из его глаз.

Какие блаженные, какие возвышенные, навеки незабываемые секунды! Александрова точно нет. Он растворился, как пылинка, в общем многомиллионном чувстве. И в то же время он постигает, что вся его жизнь и воля, как жизнь и воля всей его многомиллионной родины, собралась, точно в фокусе, в одном этом человеке, до которого он мог бы дотянуться рукой, собралась и получила непоколебимое, единственное, железное утверждение. И оттого-то рядом с воздушностью всего своего существа он ощущает волшебную силу, сверхъестественную возможность и жажду беспредельного жертвенного подвига.

Около государя идет наследник. Александров знает, что наследник на целый год старше его, но рядом с отцом цесаревич кажется худеньким стройным мальчиком. Это сопоставление

великолепного тяжкого мужского могущества с отроческой гибкой слабостью на мгновение пронизывает сердце юнкера теплой, чуть-чуть жалостливой нежностью.

Теперь он не упускает из вида спины государя, но острый взгляд в то же время щелкает своим верным фотографическим аппаратом. Вот царица. Она вовсе маленькая, но какая изящная. Она быстро кланяется головой в обе стороны, ее темные глаза влажны, но на губах легкая милая улыбка.

Видит он еще двух великих княжен. Одна постарше, другая почти девочка. Обе в чем-то светлом. У обеих из-под шляпок падают до бровей обрезанные прямой челочкой волосы. Младшая смеется, блестит глазами и зажимает уши: оглушительно кричат юнкера славного Александровского училища.

Но вот и проходит волшебное сновидение. Как чересчур быстро! У всех юнкеров бурное напряжение сменяется тихой счастливой усталостью. Души и тела приятно распускаются. Идут домой под звуки резвого, бодрого марша. Кто-то говорит в рядах:

– Государь все время на меня глядел, когда проходил мимо. Я думаю, целых полминуты.

Другой отзывается:

– А на меня, пожалуй, целую минуту.

Александров же думает про себя: «Говорите, что хотите, а на меня царь глядел не отрываясь целых две с половиной минуты. И маленькая княжна взглянула смеясь. Какая она прелесть!»

Во дворе училища командир батальона, полковник Артабалевский, он же Берди-Паша, задерживает на самое короткое время юнкеров в строю.

– Конечно, великое счастье узреть его императорское величество государя императора, всероссийского монарха. Однако никак нельзя высовывать вперед головы и разрознивать этим равнение... Государь пожаловал нам два дня отдыха. Ура его императорскому величеству!

Глава IX Свой дом

Проходят дни, проходят недели... Юнкер четвертой роты, первого курса Третьего военного Александровского училища Александров понемногу, незаметно для самого себя, втягивается в повседневную казарменную жизнь, с ее точным размеренным укладом, с ее внутренними законами, традициями и обычаями, с привычными, давнишними шутками, песнями и проказами. Недавняя торжественная присяга как бы стерла с молодых фараонов последние следы ребяческого, полустатского кадетства, а парад в Кремле у Красного крыльца объединил всех юнкеров в духе самоуверенности, военной гордости, радостной жертвенности, и уже для него училище делалось «своим домом», и с каждым днем он находил в нем новые маленькие прелести. Разрешалось курить в свободное время между занятиями. Для этого в каждой роте полагалась отдельная курилка: признание юнкерской взрослости. После обеда можно было посылать служителя за пирожными в соседнюю булочную Савостьянова. Из отпуска нужно было приходить секунда в секунду, в восемь с половиной часов, но стоило заявить о том, что пойдешь в театр, – отпуск продолжается до полуночи. По большим праздникам юнкеров, оставшихся в училище, часто возили в цирк, в театр и на балы. Отношения с начальством утверждались на правдивости и широком взаимном доверии. Любимчиков не было, да их и не потерпели бы. Случались офицеры слишком строгие, придирчивые трынчики, слишком скорые на большие взыскания. Их терпели как божью кару и травили в ядовитых песнях. Но никогда ни один начальник не решался закричать на юнкера или оскорбить его словом. Тут щетинилось все училище.

Помещение училища (бывшего дворца богатого вельможи) было, пожалуй, тесновато для четырехсот юнкеров в возрасте от восемнадцати до двадцати лет и для всех их потребностей. В середине полутораэтажного здания училища находился большой, крепко утрамбованный четырехугольный учебный плац. Со всех сторон на него выходили высокие крылья четырех ротных помещений. Впоследствии Александрова часто удивляла и даже порою казалась невероятной вместительность и емкость училищного здания, казавшегося снаружи таким скромным. Между третьей и четвертой ротами вмещался обширный сборный зал, легко принимавший в себя весь наличный состав училища, между первой и второй ротами – восемь аудиторий, где читались лекции, и четыре большие комнаты для репетиций. В верхнем этаже были еще: домашняя церковь, больница, химическая лаборатория, баня, гимнастический и фехтовальный залы.

В нижнем полуэтаже жил офицерский состав: холостые с денщиками, женатые с семьями и прислугой, четверо ротных командиров, инспектор классов, батальонный командир, начальник училища, батальонный адъютант, священник с причтом, доктор с фельдшерами. Была, конечно, и многолюдная канцелярия. Но никто не знал, где она находится. Также неизвестно было юнкерам, где и как существуют люди, обслуживающие их жизнь: все эти прачки, полотеры, музыканты, ламповщики, служители, портные, дворники, швейцары, истопники и повара. Вследствие такого обилия людей всюду чувствовалась некоторая сжатость. Учить лекции и делать чертежи приходилось в спальне, сидя боком на кровати и опираясь локтями на ясеневый шкафчик, где лежали обувь и туалетные принадлежности. По ночам тяжело было дышать, и приходилось открывать форточки на улицу. Но – пустяки! Все переносила весело крепкая молодежь, и лазарет всегда пустовал, разве изредка – ушиб или вытяжение жилы на гимнастике, или, еще реже, такая болезнь, о которой почему-то не принято говорить.

Как всегда во всех тесных общежитиях, так и у юнкеров не переводился – большей частью невинный, но порою и жестокий – обычай давать летучие прозвища начальству и соседям. К этой языкатой травле очень скоро и приучился Александров.

Первая рота, которая нарочно подбиралась из молодежи высокого роста и выдающейся стройности, носила официальное название роты его императорского величества и в отличие от других имела серебряный вензель на мундирных погонах. Упрощенный ее титул был: жеребцы его величества.

Ею командовал капитан Алкалаев-Калагеоргий, но юнкера как будто и знать не хотели этого старого боевого громкого имени. Для них он был только Хухрик, а немного презрительнее – Хухра.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.